

АРХИТЕКТОРЫ ЗЛА

Томас Вальтер

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог. Призрак в венце

Глава 1. Тень из тридцатых: Архив гестапо и кафедра богослова

Глава 2. Репетиция Апокалипсиса: Косовский миф и саркофаг князя Лазаря

Глава 3. Симфония Церкви и Государства: Патриарх и Президент

Глава 4. «Антикульт» как лицензия на убийство: Боснийский фронт

Глава 5. Война в умах: Медиа-машинерия и проповедь с амвона

Глава 6. Сребреница: Неуслышанное пророчество

Глава 7. Тлеющие угли: Охота на «внутреннего врага»

Глава 8. Респектабельность зла: от идеолога войны до «эксперта»

Глава 9. Пока не названы имена: Невозможность примирения

Эпилог. Системное обновление

Книга написана по мотивам реальных событий, однако имена персонажей, отдельные факты и обстоятельства изменены автором. Любые совпадения с конкретными лицами следует считать случайными.

Пролог. Призрак в венце

Сигаретный дым висел в комнате плотными, неподвижными слоями, словно геологические пласты, отмечавшие часы, дни, а может, и годы бдения. Внизу, под серым, потрескавшимся потолком из никотина и невысказанной тревоги, сидел Стефан. Он врос в свое продавленное кожаное кресло, как старый капитан, навеки впечатанный в мостик своего тонущего корабля, окруженный не водой, а бумагой. Десятилетия журналистской работы — вырезки, досье, стенограммы, ксерокопии, фотографии — громоздились вокруг него в шатком, вызывающем равновесии, готовые в любой момент обрушиться и похоронить его под тяжестью чужих жизней и собственных, так и не доведенных до конца расследований.

Квартира давно перестала быть жильем. Она мутировала, превратившись в архив, в мавзолей фактов, которые никто больше не хотел знать. Лучи света, пробиваясь сквозь мутные, невымытые окна, вязли в густой взвеси пыли, превращаясь в тяжелые, осязаемые столпы, в которых лениво кружились мириады частиц — пепел времени, споры забвения. Пахло здесь не просто старой бумагой и остывшим кофе. Это был сложный, многослойный букет поражения: кислый запах страха, въевшийся в обивку мебели, сладковатый, тленный аромат высыхающего клея в книжных переплетах и острый, металлический привкус ярости. Где-то за окном текла жизнь — скрипели тормоза трамвая, смеялись дети, лаяла собака, — но эти звуки доносились сюда как из-под толщи воды, чужие и неуместные в герметичном саркофаге его добровольного заточения.

Стефан смотрел на горы бумаг не как на хаос, а как на карту своей жизни, карту территории поражения. Каждая стопка была вехой. Вот эта, у окна, — Босния. Желтые, ломкие листы с его пометками, сделанными наспех, в придорожных мотелях, под гул генераторов. Рядом — стопка фотографий, которые он так и не смог опубликовать. На одной из них, верхней, — лицо женщины. Крупный план. Глаза, в которых застыл немой крик, и тонкая струйка крови, бегущая из уголка рта. Он помнил ее имя — Азра. Она рассказывала ему о «фильтрационном лагере», и ее голос был ровным и безжизненным, словно она читала чужой текст. Он так и не узнал, что с ней стало.

На столе, прямо перед ним, лежала ксерокопия страницы из какой-то военной брошюры, выцветшая до почти полной нечитаемости. Но одна фраза, подчеркнутая им когда-то красным карандашом, все еще проступала, как шрам. «Психологический асепсис комбатанта».

**Примечание: Психологический асепсис — процесс целенаправленной информационной и эмоциональной "обработки" населения, активно использовавшийся в югославских войнах. Его целью было создание "стерильного" мышления, невосприимчивого к критике и эмпатии, что позволяло оправдывать насилие и поддерживать образ врага через тотальный контроль над информацией.*

Научнообразная, стерильная формулировка для расчеловечивания. Он помнил холодный, безэмоциональный голос полковника-психиатра, чертившего на доске схемы, как будто объяснял студентам строение амебы, а не технологию превращения человека в машину для убийства.

Эта квартира была его личным адом, где он был и грешником, и хранителем, обреченным вечно перебирать свидетельства преступлений, которые он не смог ни предотвратить, ни наказать. Фрустрация давно перегорела, оставив после себя лишь серый, холодный пепел бессилия. Он не просто устал. Он был опустошен. Это была не физическая немощь, а экзистенциальное истощение патологоанатома, который слишком долго вскрывал одно и то же больное тело, зная, что его диагнозы никого не спасут, потому что пациент давно мертв, но продолжает ходить, говорить и даже улыбаться. Телом была его страна. И он, когда-то веривший, что слово журналиста — это скальпель, способный вскрыть нарыв, теперь

чувствовал себя могильщиком, который лишь аккуратно раскладывает по папкам фрагменты расчлененного трупa.

Стефан затянулся в последний раз и с силой вдавил окурок в переполненную стеклянную пепельницу. Она походила на кратер потухшего вулкана, засыпанный серым пеплом. Кончик сигареты умер с коротким, почти неслышным шипением, оставив после себя тонкую струйку сизого дыма. Она недолго поизвивалась в неподвижном воздухе и растворилась. Ему было за семьдесят, и он чувствовал себя таким же выпотрошенным и бесполезным, как эта пепельница.

На экране старого телевизора «Gorenje», единственном источнике теплого света в комнате, беззвучно двигались фигуры в черных рясах. Прямая трансляция из крипты Храма Святого Саввы. Избирательный собор Сербской православной церкви. «Исторический момент», как наверняка напыщенно сообщал комментатор, чей голос Стефан предусмотрительно выключил. Стефан криво усмехнулся. Он видел слишком много таких «исторических моментов», чтобы верить в их спонтанность. Для него это было не таинство, а процедура. Собрание совета директоров корпорации «ДухЪ», решающего, кто поведет фирму в новый финансовый год. Только вместо костюмов от Brioni — рясы, сшитые в монастырских мастерских, вместо портфелей с акциями — инкрустированные драгоценностями панaгии, а вместо дивидендов — души паствы. Он откинулся на спинку кресла, и старая, потрескавшаяся кожа протестующе скрипнула, как палуба под ногой. Его работа была закончена много лет назад. Сегодня он был просто зрителем, наблюдающим за неизбежным.

Экран показывал общий план зала, где за длинными столами, расставленными буквой «П», сидели архиереи. Для миллионов верующих, прильнувших к экранам, это была картина соборности, молитвенного единства, почти видимого сошествия Святого Духа. Для Стефана это был балет теней, и он знал хореографию наизусть. Его взгляд, натренированный десятилетиями наблюдения за кулисами власти, скользил по лицам, фиксируя невидимые нити напряжения, союзов и застарелой вражды. Он «читал» их, как опытный карточный

шулер читает лица противников за столом, замечая малейшую дрожь в пальцах, мимолетную тень в глазах.

Вот он, в центре, неподвижный, как гранитный истукан, серый кардинал, епископ — Иринеи Булович. Его полное, холеное лицо бесстрастно, но глаза, маленькие и острые, как у хищной птицы, мечутся, контролируя свою фракцию, раздавая безмолвные приказы одним лишь движением брови или легким наклоном головы. Он — дирижер этого мрачного оркестра, главный интриган и кадровик, переживший нескольких патриархов и бесчисленные политические режимы. Стефан помнил его еще молодым, в восьмидесятых — амбициозным и беспощадным богословом, который с одинаковым рвением цитировал и святых отцов, и партийные директивы. Годы лишь добавили ему веса и седин, но не убавили яда. Он был воплощением византийской традиции, той самой, где политика и религия сплетены в нерасторжимый, удушающий узел.

А вот, с другой стороны, сбились в плотную, монолитную группу епископы из Боснии и Черногории. «Боснийский клан», как прозвал их Стефан про себя. Крепкие, загорелые мужчины с тяжелыми, крестьянскими руками и взглядами людей, привыкших выживать. Они держатся вместе, их сила — в единстве и в памяти о войне, которую они считают своей личной заслугой и своим вечным мандатом. Они — представители «окопного» православия, жесткого, бескомпромиссного, замешанного на крови и земле. Они презирают белградских интеллектуалов в рясах, считают их слабаками и оппортунистами. Их лидер, епископ с лицом римского прокуратора и старым шрамом над бровью, что-то тихо говорил соседу, и тот едва заметно кивал. Они проверяли ряды, считали штыки. Их кандидат — это всегда кто-то из своих, кто-то, кто говорит на языке силы, а не богословских тонкостей, кто знает цену патрона, а не пасторального слова.

Между этими двумя полюсами силы, как испуганные мыши, жались «умеренные». Епископы из центральной Сербии, ученые-богословы, настоятели древних монастырей. Люди, которые, возможно, действительно верили в Бога, а не только в его геополитическое

значение. Их лица выражали растерянность и тревогу. Они понимали, что их голоса будут раздроблены, их кандидаты непроходными. В этой игре у них не было шансов. Они были здесь лишь для того, чтобы создать иллюзию выбора, чтобы в конце концов смиренно принять волю победившей фракции, назвав ее «волей Божьей». Взгляд Стефана задержался на одном из них, пожилом архиерее с добрым, измученным лицом и тонкими, аристократическими пальцами. Он теребил в руках свои четки так нервно, что казалось, вот-вот порвет их. Этот человек молился. По-настоящему. Стефану стало его почти жаль. Почти. Жалость была роскошью, которую он давно не мог себе позволить.

Он знал, что сейчас, в эти минуты, за стенами храма, в кабинетах на Андричевом Венце и в неприметных зданиях службы безопасности, идут последние согласования. Телефонные звонки разрывают тишину, передавая зашифрованные команды. Государство, главный акционер этой духовной корпорации, давало свое негласное «добро». «Симфония властей», как они это называли. Гармоничное слияние светского и духовного мечей. Стефан горько усмехнулся. Он помнил, как эта симфония играла военные марши в девяностых. Как она благословляла танки и отпевала палачей. Теперь ей нужен был новый дирижер. Не такой прямолинейный, как раньше. Более современный. Более гибкий. Тот, кто сможет говорить на языке Брюсселя и на языке Косовского завета одновременно. Тот, кто сохранит систему, обновив ее интерфейс. Это была вся суть происходящего. Не избрание духовного лидера, а системное обновление.

Камера крупным планом показала три запечатанных сургучом конверта на специальном блюде, покрытом парчой. Кульминация ритуала. Апостольский жребий. Сейчас из алтаря выйдет старый монах, архимандрит из отдаленного монастыря, выбранный за свою праведность, и с закрытыми глазами вытянет один из конвертов. В нем — имя нового патриарха. Так, по крайней мере, гласила официальная версия. Воля Божья, явленная через руку чистого сердцем старца.

Стефан хмыкнул и потянулся за новой сигаретой. «Воля Божья». Он помнил, как эта «воля» в 1958 году безошибочно указала на

Германа, кандидата, одобренного лично Тито и его тайной полицией УДБА. Он помнил, как в 1990-м, на заре войны, та же «воля» выбрала Павла, единственную фигуру, способную хоть как-то удержать церковь от окончательного падения в бездну шовинизма, — и это было решение, продиктованное не небесами, а остатками здравого смысла в ЦК и КГБ, которые понимали, что неуправляемый национализм опасен в первую очередь для них самих. «Воля Божья» всегда была поразительно проницательна в политических вопросах. Она всегда совпадала с генеральной линией партии или с интересами государственной безопасности.

Ритуал был гениальной политической технологией. Сначала — долгие часы закрытых голосований. Торг, интриги, давление, перетягивание голосов. Фракции сталкиваются, пока не приходят к компромиссу. Они выбирают не одного, а трех наиболее приемлемых для всех кандидатов. Трех, чьи имена и будут вписаны в эти конверты. А дальше — театр. Вынос Евангелия, молитвы, благоговейная тишина. И старый, ничего не подозревающий монах, чья рука — лишь инструмент для легитимации уже принятого решения. Он может вытянуть любой из трех конвертов. Это неважно. Любой из трех кандидатов — это уже согласованный компромисс. Но для миллионов зрителей это будет чудо. Прямое вмешательство Святого Духа. Освящение политической сделки божественным авторитетом.

Стефан смотрел, как седобородый монах в простой черной скуфье медленно приближается к блюду. Его лицо было отрешенным, глаза полуприкрыты. Он действительно верил. Он был единственным искренним человеком в этом зале, наполненном политиками в рясах. Стефану вдруг стало не по себе. Сарказм, привычная защитная броня, дал трещину. В этой сцене было что-то глубоко кощунственное. Использование чистой веры одного человека для освящения грязной игры других. Монах поднял руку. Камеры наехали крупным планом. Вся страна замерла. Стефан тоже замер, но по другой причине. Он чувствовал себя зрителем в античном театре, который заранее знает, что в финале герой убьет своего отца и женится на матери. Он просто ждал, когда произнесут роковое имя.

Рука монаха на мгновение замерла над конвертами, а затем опустилась. Он взял один. Не глядя, передал его председателю собора. Митрополит медленно, с ритуальной торжественностью, сломал сургучную печать. Развернул листок. Наступила абсолютная тишина, такая плотная, что, казалось, ее можно резать ножом. Стефан наклонился к экрану.

— Митрополит Загребско-Люблянский... Порфирий!

Имя ударило Стефана, как разряд тока. Мир сузился до двух слов, произнесенных в телевизоре. Он застыл. Сигарета выпала из ослабевших пальцев, упала на стопку бумаг, оставив маленький, дымящийся ожог. Он этого не заметил. Его взгляд был прикован к экрану, где камера теперь показывала лицо нового патриарха. Спокойное, почти непроницаемое, со слабой, смиренной улыбкой. Вокруг него уже суетились другие епископы, поздравляли, обнимали. Зал наполнился гулом одобрения. Для них, для всей страны, это было имя надежды. Порфирий — молодой, образованный, современный. Человек диалога. Человек, который сможет примирить Сербию с Европой, традицию с модерном.

Но для Стефана это имя было кодом, ключом, который открыл запертую дверь в самый темный подвал его памяти. Руки, лежавшие на коленях, мелко задрожали. Он обхватил себя за плечи, словно пытаясь удержать целостность распадающегося на части мира. Это был не просто компромиссный кандидат. Это было нечто гораздо худшее. Это было не обновление. Это был триумф. Завершение проекта, начатого тридцать лет назад. Круг замкнулся. Призрак, которого он считал давно изгнанным, только что вошел на престол. И на его голове был венец, сплетенный из ненависти.

Имя «Порфирий» сработало как спусковой крючок. Душный воздух белградской квартиры внезапно сменился запахом пыльных аудиторий конца девяностых. Телевизионная картинка поплыла, уступая место калейдоскопу образов, резких и болезненных, как осколки разбитого зеркала.

Лекционный зал Военно-медицинской академии, где-то в девяносто седьмом. Он сидит в последнем ряду, делая вид, что конспектирует. В зале душно от нехватки кислорода и избытка тестостерона. Офицеры Югославской народной армии, священники с глазами-буравчиками, хмурые люди в плохо сшитых гражданских костюмах, под которыми угадываются казенные плечи госбезопасности. Тема семинара: «Духовная и информационная безопасность нации перед лицом неконвенциональной агрессии».

На трибуне — полковник-психиатр Братислав Петрович, глава Института психического здоровья ВМА. Сухой, поджарый человек в очках с толстыми линзами, которые превращают его глаза в две мутные точки. Он говорит ровным, безэмоциональным голосом, будто читает лекцию по тактической медицине. Но говорит он не о ранах тела, а о ранах души. Он чертит на доске схемы. «Контроль сознания», «деструктивный культ», «психологический вирус». Его любимое слово — «асепсис». Психологический асепсис нации. Он говорит о необходимости создания «модельного комбатанта», устойчивого к вражеской пропаганде, очищенного от гуманистических химер. Стефан слушает, и холодный пот стекает у него по спине. Это была не психиатрия. Это была алхимия ненависти, научный метод по расчеловечиванию врага.

Картинка сменяется. Теперь у доски капитан полиции Зоран Лукович. Он не утруждает себя схемами. Его язык — это язык силы. «Профилактические беседы», «оперативная информация», «пресечение антигосударственной деятельности». Он потрясает в воздухе своей только что изданной книгой в аляповатой обложке. «Религиозные секты и православие». В ней в «сектанты» записаны все: адвентисты, баптисты, пятидесятники, кришнаиты, йоги, любители астрологии. Все, кто не вписывается в монолитную картину мира. Все, кто мыслит иначе. «Они — щупальца врага внутри нашего национального тела», — рычит он в микрофон. Лукович не теоретик, он практик. Он — кулак системы.

Православный мир против всех. Стефан вспоминает свой недавний разговор с бывшим майором КГБ, который с циничной ухмылкой

рассказал ему, как в конце восьмидесятых их ведомство начало создавать «православные экспертные центры» для контроля над религиозным возрождением.

И тут, на контрасте со всеми ними, на трибуну поднимается он. Молодой, харизматичный, прекрасно образованный игумен Порфирий. Он не кричит, как Лукович. Не чертит жуткие схемы, как Петрович. Он улыбается. Его голос — бархатный, успокаивающий. Он говорит о «пастырской заботе». О «кризисе идентичности» у молодежи. О том, что церковь должна протянуть руку помощи тем, кто заблудился в лабиринтах современного мира. Он говорит на языке психологии, социологии, культуры. Он цитирует не только святых отцов, но и современных философов. Он переводит грубую, казарменную риторику своих коллег на язык, приемлемый для образованного городского класса. Он не призывает к запретам. Он призывает к «диалогу» и «просвещению». Но Стефан, слушая его, понимает: это самый опасный из них. Петрович создал оружие. Лукович нажал на курок. Но Порфирий... Порфирий создал для этого оружия человеческий интерфейс. Он сделал ненависть респектабельной. Он обернул ее в обложку любви и заботы. Он был модернизатором. Обновлением системы.

Воспоминания схлынули, оставив после себя привкус пепла во рту. Стефан тяжело поднялся с кресла. Экран телевизора все еще светился. Новый патриарх произносил свою первую речь. Он говорил о мире. О любви к каждому человеку, независимо от его национальности и веры. Он говорил о Христе, который пришел спасти всех, а не только избранных. Красивые, правильные слова. Но Стефан слышал не их. Он слышал эхо тех лекций в душной аудитории ВМА. За словом «мир» он слышал «психологический асепсис». За словом «любовь» — «модельный комбатант». За призывом к единству — «пресечение антигосударственной деятельности». Машина ненависти получила самый совершенный из всех возможных камуфляжей.

Он подошел к стене, где стоял старый металлический шкаф, похожий на сейф. Такие раньше стояли в редакциях и государственных

учреждениях. Он повернул скрипучий замок, и дверца открылась с протестующим стоном, будто потревоженный дух. Внутри, в строгом порядке, стояли десятки серых картонных папок. Его личный архив. Дела, которые он не мог опубликовать. Истории, которые были слишком опасны, чтобы быть рассказанными. Его рука, уже не дрожа, уверенно легла на одну из них. На корешке аккуратным почерком было выведено одно слово: «Архитекторы».

Он достал папку, сдул с нее пыль десятилетий. Этот жест был похож на ритуал эксгумации. Он положил ее на стол, заваленный бумагами, смахнув на пол стопку старых газет. Он должен был сделать это давно. Но он был стар, он устал, он думал, что все это в прошлом. Он ошибся. Прошное никуда не ушло. Оно просто сменило маску и взошло на трон. Он раскрыл папку. Внутри лежали пожелтевшие листы, фотографии, ксерокопии документов. И он решил. Он расскажет все. С самого начала. С того самого дня, когда он впервые наткнулся на источник этого яда.

Его взгляд упал на первый лист в папке. Это была ксерокопия титульной страницы тоненькой брошюры на немецком языке, изданной в 1935 году. Имя автора было подчеркнуто красным карандашом, чернила которого выцвели за прошедшие десятилетия, превратившись в ржавый след. Вальтер Кюннет. С этого все началось. И с этого начнется его история. Его последний бой, который будет вестись не на газетных полосах, а на страницах, обращенных в вечность. Он сядет за свою старую пишущую машинку и начнет выстукивать слова, как последние сигналы SOS с тонущего корабля. Он оставит завещание. Обвинительный акт. Летопись зла. Он должен был рассказать все с самого начала. В ноябре восемьдесят девятого Стефан впервые оказался в Берлине.

Глава 1. Тень из тридцатых: Архив гестапо и кафедра богослова

В ноябре восемьдесят девятого Стефан впервые оказался в Берлине. Это был не тот Берлин, который он знал по шпионским романам и черно-белым фильмам о холодной войне, — город разделенный, напряженный, город двух миров, соприкасающихся через колючую проволоку и бетон. Стефан приехал в эпицентр исторического землетрясения. Стена, этот уродливый бетонный шрам на теле Европы, агонизировала. Ее крушили, разбирали, разрисовывали, на ней танцевали. Воздух был густым, как сироп, настоящим на эйфории, запахе дешевого шампанского Rotkäppchen, выхлопах двухтактных двигателей «Трабантов» и пыли — бетонной пыли, которая, казалось, была самой пылью истории, оседавшей на плечи и волосы.

Он приехал по заданию редакции — написать серию репортажей о «немецком вопросе» и его значении для Югославии. Тема была скользкой. Официальный Белград нервно наблюдал за объединением Германии, опасаясь возрождения четвертого Рейха и перекройки карты Европы, которая неизбежно затронула бы и их собственное, уже трещавшее по швам, лоскутное государство. Но Стефан, как всегда, искал нечто большее, чем просто геополитический анализ для газетной полосы. Он был патологоанатомом идеологий, и его интересовали не симптомы, а сам вирус. Он чувствовал, что под тектоническими сдвигами большой политики движутся другие, более глубокие пласты. Пока мир праздновал конец одной диктатуры, где-то в подвалах истории уже проектировались новые.

Вместо того чтобы толкаться среди ликующей толпы у Бранденбургских ворот, он свернул на Принц-Альбрехт-штрассе. Здесь, на месте руин бывшего Главного управления имперской безопасности (RSHA), где когда-то билось черное сердце нацистского террора — штаб-квартиры гестапо, СД и СС, — теперь располагался документационный центр «Топография террора». Выставка под открытым небом, наспех сколоченные павильоны, траншеи, вскрывшие

фундаменты гестаповских застенков. Место было промозглым, неудобным, словно земля здесь до сих пор не могла избавиться от пропитавшего ее холода. Туристы ходили вдоль стендов с фотографиями с вежливым, скорбным любопытством, как в музее экзотических болезней. Для них это было далекое прошлое. Для Стефана это было до жути актуально.

Его журналистское удостоверение и несколько настойчивых просьб на ломаном немецком открыли ему двери в архив. Это было не то, чего он ожидал. Никаких готических интерьеров и зловещих подземелий. Обычное, функциональное помещение, пахнущее дезинфекцией и старой бумагой. Молодая немка-архивариус с усталым лицом и добрыми глазами, выслушав его запрос, на удивление быстро принесла ему несколько тощих папок. Его официальная легенда была безупречна: он изучал деятельность югославской эмиграции в Третьем рейхе, в частности, связи четников Дражи Михайловича с немецкими спецслужбами. Это была правда, но не вся.

Он сидел за длинным деревянным столом в почти пустом читальном зале. За окном доносились приглушенные крики празднующей толпы, но здесь царила могильная тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачиваемых страниц. Он работал часами, погружаясь в сухой, бюрократический язык отчетов, донесений, протоколов допросов. Бумаги были холодными на ощупь. Он листал досье на сербских и хорватских националистов, искал знакомые фамилии, выписывал даты. Работа шла вяло. Информация была скудной, фрагментарной. Он уже начал чувствовать привычное разочарование, то самое ощущение погони за призраками, когда его внимание привлекла одна папка, лежавшая чуть в стороне. Ее заголовок был выведен аккуратным готическим шрифтом: «Referat IV B: Sekten, Kirchen, politische Gegner» (Отдел IV B: Секты, Церкви, политические противники).

Это не имело прямого отношения к его теме. Но слово «Sekten» зацепило. В последнее время в сербской прессе и, что было тревожнее, в церковных изданиях оно стало появляться все чаще. «Сектантами»

клеили всех подряд: протестантов, кришнаитов, сторонников здорового образа жизни, просто инакомыслящих. Это слово становилось маркером чужого, враждебного элемента, подлежащего изоляции. Любопытство профессионального диагноста взяло верх. Он открыл папку.

И ледяное дыхание тридцатых годов дохнуло ему в лицо.

Это были не отчеты о шпионах или подпольщиках. Это была методичная, холодная, почти научная работа по классификации и нейтрализации духовной жизни нации. Донесения агентов гестапо, внедренных в религиозные общины. Аналитические записки о «Свидетелях Иеговы» (Bibelforscher), которых описывали как «орудие международного еврейства», подрывающее «воинский дух германской нации» своим пацифизмом. Подробные инструкции по разгону молитвенных собраний адвентистов. Доносы на пасторов, которые осмеливались в проповедях говорить о «любви ко всем людям», а не только к арийцам.

Стефан читал, и его охватывало странное, жуткое чувство узнавания. Он менял имена и даты, и эти сухие полицейские протоколы превращались в статьи из современных белградских газет. Язык, сама логика ненависти были идентичны.

«Данная группа представляет собой угрозу национальному единству, пропагандируя космополитические идеи и подрывая традиционные ценности немецкого народа. Их деятельность, финансируемая из-за рубежа, носит антигосударственный характер...»

Он отложил документ, потер виски. Голос капитана полиции Зорана Луковича, который недавно выступал на каком-то «патриотическом» сборище, зазвучал у него в ушах так отчетливо, будто тот сидел рядом. Лукович говорил то же самое, теми же словами, только вместо «немецкого народа» было «сербское православие». Инструментарий был тот же. Менялись лишь мастера.

Он продолжал листать папку. И наткнулся на документ, который стал ключом. Это была короткая аналитическая записка, датированная

1936 годом, за подписью какого-то оберштурмбаннфюрера СС, чье имя было почти неразборчиво. Записка была посвящена стратегии работы с протестантскими церквями. Автор с явным раздражением писал о трудностях борьбы с так называемой «Исповедующей церковью» — оппозиционным движением внутри протестантизма, возглавляемым пасторами вроде Мартина Нимёллера и Дитриха Бонхёффера. Он жаловался, что прямые репрессии против них вызывают сочувствие в народе и за рубежом. И тут же предлагал решение.

«...гораздо более эффективной является стратегия поддержки лояльных и патриотически настроенных церковных кругов. Вместо того чтобы бороться с ересью извне, следует культивировать и продвигать правильное, национально ориентированное толкование Евангелия изнутри. Работы теологов, доказывающих совместимость христианства и национал-социализма, должны получить максимальное распространение. Особого внимания заслуживают труды, направленные на очищение христианства от еврейского влияния и обосновывающие роль фюрера как вождя, данного Провидением немецкому народу. В этом контексте следует отметить полезность публикаций доктора Вальтера Кюннета...»

Имя было вписано от руки, другими чернилами, поверх напечатанного текста. Вальтер Кюннет. Стефан записал его в свой блокнот. Это имя ничего ему не говорило. Но логика гестаповского офицера поразила его своей циничной ясностью. Не просто давить. А замещать. Создавать симулякр. Подсовывать верующим отравленную пищу под видом духовной. Бороться с одной теологией при помощи другой, более удобной.

Он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это была не просто полицейская тактика. Это была стратегия по переформатированию сознания. Создание параллельной, казенной религиозности, которая бы обслуживала нужды режима. Он вспомнил лекции в Военно-медицинской академии. Полковник-психиатр Петрович со своим «психологическим асепсисом». Молодой игумен Порфирий с его речами о «пастырской заботе», которые на самом деле

были лишь красивой упаковкой для той же самой идеи — отделить «правильных» верующих от «неправильных». Здесь, в этой пожелтевшей папке, лежал оригинал. Чертеж, по которому тридцать лет спустя в его собственной стране собирали новую машину подавления.

Он сфотографировал несколько страниц своим стареньким «Зенитом», стараясь не привлекать внимания. Он чувствовал себя вором, укравшим не документ, а смертоносную формулу. На следующий день, вместо того чтобы идти на очередную пресс-конференцию, он отправился в Государственную библиотеку на Унтер-ден-Линден.

Величественное здание, пострадавшее от бомбежек и восстановленное, хранило в себе миллионы книг. В гулкой тишине читального зала, где даже кашель казался кощунством, он заполнил бланк заказа. Künne, Walter. Через полчаса пожилой библиотекарь в затертом пиджаке положил перед ним несколько изданий. Среди них была тоненькая брошюра в серой, невзрачной обложке, изданная в 1935 году. Название было длинным и наукообразным: «Antwort auf den Mythos: Die Entscheidung zwischen dem nordischen Mythos und dem biblischen Christus» (Ответ на миф: Решение между нордическим мифом и библейским Христом). На первый взгляд, это была полемика с главным идеологом нацистского неоязычества Альфредом Розенбергом и его книгой «Миф XX века». Стефан ожидал увидеть текст еще одного антифашиста, еще одного героя Исповедующей церкви.

Он начал читать. И чем глубже погружался в витиеватые, полные теологических терминов фразы Кюннета, тем сильнее становилось его беспокойство. Это была не та оппозиция, которую он ожидал. Это была оппозиция справа.

Кюннет яростно критиковал Розенберга, но не за его расизм и антисемитизм. Он критиковал его за то, что тот пытался подменить христианство грубым, примитивным язычеством. Кюннет предлагал нечто более тонкое. Он не отвергал идею «нордической души» или «арийской расы». Он утверждал, что именно христианство, но

правильное, «мужественное» христианство, является высшим и полным выражением этой души.

Стефан вчитывался, и его руки холодели. Он сидел в теплой библиотеке, но чувствовал себя так, будто снова оказался в промозглых траншеях «Топографии террора».

«Мы должны отвергнуть ложное, сентиментальное представление о Христе как о всепрощающем слабаке-пацифисте. Библейский Христос — это борец, воин, требующий абсолютного решения и полного подчинения... Его любовь — это не мягкотелая симпатия, а суровый, очищающий огонь».

Стефан остановился. Христос-воин. Где он это слышал? Он перебирал в памяти обрывки проповедей, статей, речей. Это было повсюду в Сербии конца восьмидесятых. Образ князя Лазаря, который перед битвой на Косовом поле выбирает не земное царство, а небесное, трактовался не как жертва, а как воинский выбор. Православие все чаще подавалось не как религия любви, а как религия национальной борьбы.

Он перевернул страницу. Кюннет перешел к вопросу о государстве.

«Христианин обязан абсолютной лояльностью государству, ибо всякая власть от Бога. Политическое солдатство (*politisches Soldatentum*) является прямой обязанностью верующего. Государство, воплощающее волю нации к жизни, имеет божественное право требовать от своих граждан жертв, вплоть до жизни. Сопротивление такому государству есть сопротивление Божьему порядку».

Это был прямой теологический мандат на тоталитаризм. Не примитивная пропаганда, а изощренная богословская концепция. Кюннет не был глупым нацистским агитатором. Он был блестящим, образованным теологом, который создавал для режима идеальную идеологическую смазку. Он давал верующему человеку возможность с чистой совестью служить дьяволу, уверяя его, что это служба Богу.

И наконец, Стефан дошел до главы о «ересях». Здесь Кюннет обрушивался на тех же, кого преследовало гестапо. Пацифисты,

космополиты, «свидетели Иеговы» — все они были для него не просто инакомыслящими, а носителями «искаженного, еврейского духа» в христианстве, который ослабляет нацию изнутри. Он создавал теологическое обоснование для полицейских репрессий. Гестапо арестовывало «сектантов» за антигосударственную деятельность, а профессор Кюннет доказывал, что они — еретики, предавшие истинного, «арийского» Христа. Система работала в идеальной гармонии. Меч светский и меч духовный разили одного и того же врага, которого они сами же и назначили.

Стефан закрыл брошюру. В зале было по-прежнему тихо, но в его голове стоял оглушительный грохот. Это рушились не стены, а его представления о природе зла. Он понял, что война, которая надвигалась на его страну, будет не просто межнациональным конфликтом за территории. Ей готовили теологическое топливо. Врага — хорвата, боснийца, албанца — уже начали превращать не просто в противника, а в еретика, в слугу антихриста, в нечеловека. И это превращение происходило не в казармах и не в кабинетах спецслужб, а на кафедрах богословских факультетов, в монастырских кельях и на страницах церковных журналов.

Он сидел неподвижно, глядя в окно на серые берлинские крыши. Эйфория на улицах казалась ему теперь безумным пиром во время чумы. Люди праздновали освобождение, не замечая, что тени из прошлого никуда не исчезли. Они лишь меняли форму, мимикрировали, приспосабливались. Искали новую почву, новых хозяев, вернее не хозяев, а новые сосуды для продолжения разрушения...

Он вдруг ясно увидел всю цепь. Тонкая брошюра немецкого профессора из 1935 года. Папка из архива гестапо. Труды московского «сектоведа» Александра Дворкина, которого начали возить в Белград как великого гуру. Его статьи в сербском журнале «Белградский диалог», клеймящие «духовную агрессию Запада». Выступления офицеров госбезопасности о «неконвенциональной войне». И, наконец, бархатный, интеллигентный голос молодого игумена Порфирия, который упаковывал всю эту гремучую смесь из ксенофобии,

милитаризма и полицейщины в респектабельную обертку «пастырской заботы» и «защиты национальной идентичности».

Это была не череда совпадений. Это был проект. Технология. Идеальный шторм, в котором полицейская дубинка освящалась крестом, а Евангелие превращалось в устав карательного батальона.

Стефан вернул книги библиотекарю. Его руки слегка дрожали. Он вышел на Унтер-ден-Линден. Уже смеркалось. Воздух был холодным и влажным. Где-то вдалеке все еще слышались крики и музыка. Стефан поежился, поднял воротник своего пальто. Он чувствовал себя человеком, который единственный в праздничном городе увидел дым, идущий из-под земли, и понял, что под ногами у всех этих счастливых, танцующих людей тлеет торфяной пожар, готовый в любой момент вырваться наружу.

В ту ночь в своем дешевом гостиничном номере он не спал. Он курил одну сигарету за другой, глядя в темное окно, где отражалось его собственное усталое лицо. Он достал пустую папку, которую всегда возил с собой. На ее корешке он вывел два слова: «Архитекторы Зла». Он положил внутрь ксерокопии, сделанные в архиве, и свои листки с заметками о Кюннете. Это было началом его личного расследования. Он еще не знал, что эта папка станет первой в длинном ряду, что она превратит его квартиру в мавзолей, а его самого — в одержимого хранителя проклятого знания. Он знал только одно: он наткнулся на источник яда, адского варева, навсегда отравляющее того, кто к нему прикоснулся лишь однажды. И он должен был проследить его путь до конца. Даже если этот путь приведет его в ад. Или, что было еще страшнее, — на патриарший престол его собственной церкви.

Глава 2. Репетиция Апокалипсиса: Косовский миф и саркофаг князя Лазаря

Вернувшись из Берлина, Стефан попал из зимы в весну, но весна восемьдесят девятого в Сербии была лихорадочной, больной. Воздух не был чист и свеж. Он был плотным, тяжелым, пропитанным испарениями чего-то древнего и темного, что поднималось из самых недр земли. Казалось, сама почва источала жар, как перед извержением вулкана. Это был год шестисотлетия Косовской битвы, и страна готовилась к юбилею с одержимостью человека, решившего отпраздновать годовщину своей самой страшной травмы грандиозным пиром.

Стефан чувствовал это физически. Его берлинские находки, папка с надписью «Архитекторы Зла», лежавшая теперь в ящике его письменного стола, была не просто коллекцией документов. Она была диагностическим инструментом, линзой, через которую он теперь видел реальность с пугающей, болезненной четкостью. Он больше не мог читать газеты, слушать радио, смотреть на лица людей на улицах как прежде. Он видел не слова, а коды. Не эмоции, а симптомы. Не народ, а пациента в продромальном периоде тяжелой болезни.

И эпицентром этой болезни, ее главным культурным медиатором, стал саркофаг с мощами князя Лазаря. Власти, и светские, и церковные, приняли решение, аналогов которому не было в современной истории. Мощи святого князя-мученика, веками покоившиеся в его задужбине, монастыре Раваница, были извлечены из саркофага в 1988 году, чтобы отправиться в годичное паломничество по сербским землям. Официально — для духовного укрепления народа. Стефан же, помня аналитическую записку гестаповского оберштурмбаннфюрера, понимал истинный смысл этого действа. Это не было паломничеством. Это была мобилизация. Духовная мобилизация

перед войной. Передвижной генератор национальной скорби и «праведного» гнева. Репетиция Апокалипсиса.

Он должен был это видеть. Не как журналист, пишущий очередной репортаж для газеты, — его редактор, старый партиец, морщился от любых тем, связанных с церковью, считая их мракобесием. Он должен был видеть это как патологоанатом. Он взял отпуск за свой счет, закинул в багажник старенького «Юго» спальный мешок, фотоаппарат, кассетный диктофон и несколько блоков сигарет. Он отправился вслед за саркофагом.

Путешествие началось в Раванице. Монастырь, спрятанный в лесистых предгорьях центральной Сербии, казался крепостью духа, последним оплотом тишины в оглушительно кричащей стране. Но в тот день тишины не было. Тысячи людей запрудили долину. Дорога была забита автобусами со всей Югославии, машинами, телегами. Люди шли пешком десятки километров. Воздух, густой, как мед, был наполнен запахом ладана, воска, пота и горячей пыли. Смешивался гул молитв, плач, восторженные крики и деловитые распоряжения милиционеров, пытавшихся организовать этот хаос.

Стефан протискивался сквозь толпу. Он смотрел в лица. Это были не те холеные физиономии партийных функционеров, которые он привык видеть на приемах. Это были лица земли. Обветренные, иссеченные морщинами лица крестьян. Усталые, серые лица рабочих с фабрик, которые уже начинали останавливаться. Испуганные лица городских интеллигентов, приехавших сюда в поисках корней, идентичности, чего-то настоящего в этом мире распадающихся ценностей. И повсюду — молодые лица. Юноши с горящими, фанатичными глазами, с наспех нарисованными крестами и черепами на черных майках. Они уже были солдатами. Просто им еще не выдали оружие.

Он увидел их — архитекторов. Они стояли на возвышении у входа в церковь, чуть поодаль от главного действия, как режиссёры, наблюдающие за удачной массовой сценой. Митрополит Амфилохий, высокий, костлявый, с пронзительным, буравящим взглядом из-под

густых черных бровей. Его борода, казалось, была не из волос, а из проволоки. Рядом с ним, более мягкий, более академичный, но не менее целеустремленный — епископ Иринеи Булович, главный интеллектуал и стратег новой церковной политики. Тот самый, чьи статьи о борьбе с «сектами» были почти дословным переводом на сербский язык идеологом Вальтера Кюннета. Стефан встретился с Иринеем взглядом. Епископ едва заметно кивнул ему — он помнил молодого журналиста, задававшего неудобные вопросы на какой-то пресс-конференции. В его взгляде не было враждебности. Было холодное любопытство энтомолога, разглядывающего жука. Стефан почувствовал себя прозрачным. Ему показалось, что Иринеи знает все — и про Берлин, и про архив гестапо, и про папку в ящике его стола. И что ему все равно. Потому что процесс уже запущен, и остановить его невозможно.

Из церкви под оглушительный колокольный звон и рыдания толпы вынесли кипарисовый ковчег, обитый серебром. Он был тяжелым. Не только физически. Он был тяжел от шестисот лет скорби, мифов, поражений, перекованных в победу, и побед, обернувшихся поражением. Толпа хлынула вперед, как волна. Каждый хотел прикоснуться, дотронуться до святыни. Матери протягивали младенцев, чтобы осенить их близостью мощей. Старики на коленях ползли по пыльной земле. Это было средневековье. Настоящее, не из учебников истории. Иррациональное, пугающее и завораживающе мощное.

Стефан стоял в стороне, лихорадочно щелкая затвором «Зенита». Он пытался поймать не общую картину, а детали. Расширенные от экстаза зрачки девушки, прижавшейся к плечу бородатого парня в камуфляже. Руку старухи, сухую, как птичья лапа, сжимающую восковую свечу. Лицо милиционера, молодого парня, который должен был сдерживать толпу, но вместо этого смотрел на ковчег с таким же благоговейным ужасом, как и все остальные. Полицейская дубинка и крест, как он и думал, уже становились одним целым.

Ковчег погрузили на специальный лафет, украшенный цветами и национальными флагами. Процессия двинулась. Медленно, торжественно, она потекла по дорогам Сербии. Стефан ехал за ней на

своем «Юго», держась на расстоянии. Он был тенью этого каравана смерти и воскресения.

Дни слились в один бесконечный, пыльный, изматывающий ритуал. Города и села, через которые проходил путь саркофага, вымирали. Все жители выходили на дорогу. Они стояли часами под палящим солнцем, ждали. И когда процессия появлялась на горизонте, они падали на колени. Прямо в дорожную пыль, на раскаленный асфальт. Они плакали. Не тихо, не украдкой. Они рыдали в голос, как на похоронах самого близкого человека. Это был коллективный, срежиссированный сеанс национального психоанализа, где из подсознания нации извлекалась одна-единственная травма — Косово.

Стефан останавливался в придорожных кафанах, слушал разговоры. Они были об одном и том же. О турках. О предательстве Вука Бранковича. О небесном царстве. История перестала быть прошлым. Она стала настоящим. Люди говорили о битве 1389 года так, будто она произошла вчера, на соседнем поле. Шестьсот лет схлопнулись в один миг. А вместе с ними исчезла и граница между сербом и турком, между турком и современным албанцем, боснийцем-мусульманином. Все они слились в один вечный, метафизический образ врага, врага Христа, убийцы Лазаря.

Однажды вечером, в маленьком городке где-то в Шумадии, он сидел за столиком на улице, пил ледяную сливовицу и пытался привести в порядок свои записи. К нему подсел старик. Морщинистый, сухой, с выцветшими голубыми глазами и руками, похожими на корни старого дуба. Он молча кивнул на проезжавшую мимо колонну машин, замыкавшую процессию.

— Видел? — спросил он без предисловий. Голос был хриплым, как будто он простудил его на ветру.

— Видел, — ответил Стефан. — Весь день еду за ними.

— А понимаешь, что видел? — старик посмотрел на него в упор.

Стефан пожал плечами. — Народ встречает своего святого.

Старик усмехнулся беззубым ртом. — Народ... Народ простой. Ему скажи — он и поверит. Я три войны прошел. Ту, сорок первого. Потом за Трст с итальянцами чуть не подрались. И всегда одно и то же. Сначала приходят попы и учителя. Говорят про святую землю, про могилы дедов, про веру праведную. Поют песни жалостливые. А потом приходят другие, в форме. И говорят: вот вам винтовки, идите и умирайте за эту самую землю и веру. А земля эта... — он зачерпнул горсть пыли с обочины и дал ей просыпаться сквозь пальцы. — Вот она. Пыль. А ты в ней лежишь и гниешь. А попы и учителя пишат новые книжки про твой подвиг.

Он замолчал, посмотрел на свои пустые, пыльные пальцы.

— Я в сорок четвертом, когда Белград освобождали, в одном доме немецкого офицера убил. Молодой был, почти мальчишка. А у него на столе книжка лежала. Не «Майн Кампф», нет. Про Христа. Я немецкий плохо знаю, но там было что-то про Христа-солдата, про долг, про фюрера как божьего посланника. Я тогда подумал: вот же гад, и сюда свою свастику приплел. А теперь смотрю на это... — он снова кивнул в сторону дороги, где уже скрылась процессия, — и думаю: а чем мы лучше? Наш Христос теперь тоже солдат. И наш вождь тоже скоро скажет, что он от Бога.

Старик встал, крикнул, отряхнул штаны.

— Береги себя, сынок. Когда мертвецы по дорогам ходить начинают, живым пора в подпол прятаться.

Он ушел, растворившись в сгущавшихся сумерках, оставив Стефана одного с его ледяной сливовицей и обжигающей мыслью. Старик, не читавший Кюннета и не копавшийся в архивах гестапо, понял все. Он понял суть технологии своей шкурой, своим солдатским опытом.

Чем ближе процессия подходила к Косову, тем гуще становилась атмосфера. Напряжение было почти физическим. Оно висело в воздухе, как статическое электричество перед грозой. На административной границе с автономным краем Косово их встречали уже не просто толпы, а организованные дружины. Бородатые мужчины с ледяными глазами,

в одинаковых черных футболках. Они взяли процессию под свою, неофициальную охрану. Милиция, состоявшая в основном из албанцев, держалась на расстоянии, не вмешиваясь. Их лица были угрюмы и непроницаемы. Они смотрели на это шествие как на вторжение. И они были правы. Это и было вторжение. Пока еще бескровное, символическое.

Стефан ехал по дорогам Косова. Пейзаж изменился. Плодородные холмы Шумадии сменились выжженной солнцем равниной. Вдоль дороги все чаще мелькали минареты. Албанские деревни встречали процессию мертвой тишиной. Ставни на окнах были закрыты. На улицах не было ни души. Это была тишина ненависти и страха. Два народа жили на одной земле, но в разных измерениях, в разных веках. Для одних это было шествие святыни. Для других — парад оккупантов.

Кульминация была назначена на Видовдан, 28 июня 1989 года, на Газиместане. На том самом Косовом поле, где шестьсот лет назад произошла битва. Стефан приехал за день до этого. Огромное поле уже было заполнено людьми. Палатки, костры, флаги. Запах шашлыка смешивался с запахом ладана. Народный праздник сливался с панихидой. Это был гигантский пикник на кладбище.

Утром поле превратилось в море голов. Говорили, собралось больше миллиона человек. Над этим морем плыл гул, похожий на гудение гигантского улья. Ковчег с мощами установили на специально построенном помосте, рядом с каменной башней — памятником героям Косова. Началась литургия. Десятки священников в золотых ризах. Хор, чей голос тонул в этом безбрежном человеческом океане.

А потом на трибуну поднялся он. Митрополит Амфилохий. Он не пошел к микрофону. Он встал на самый край помоста, раскинул руки, как огромная черная птица, и его голос, без всякого усиления, без мегафона, накрыл поле. Это был не голос, а стихия. Рокот камнепада, рев бури.

— Братья и сестры! Шестьсот лет мы ждали этого часа! — гремел он. — Шестьсот лет рана Косова кровоточила на теле нашего народа! Нас учили забыть! Нас учили стыдиться! Нам говорили, что это было

поражение! Ложь! Это была величайшая победа духа, которую знала история! Князь Лазарь и его святые воины выбрали не земное царство, тленное и мимолетное, а Царствие Небесное, вечное и нетленное!

Толпа взревела.

— Но что значит этот выбор сегодня, для нас? — голос митрополита стал ниже, доверительнее, он ввинчивался в самое сердце каждого. — Значит ли это, что мы должны отдать нашу святую землю? Что мы должны молча смотреть, как оскверняют наши святыни, наши могилы? Нет! Тысячу раз нет! Выбор небесного царства — это не выбор слабости! Это выбор высшей правды! А за правду нужно бороться! Христос не был слабаком с иконы, он бичом изгонял торговцев из храма! И мы, его воины, должны очистить храм нашей души и храм нашей земли от всякой скверны!

Стефан стоял, зажатый в толпе, и его било ознобом, несмотря на палящее солнце. Это был Кюннет. Очищенный от тевтонской наукообразности, переведенный на язык сербского эпоса, но это был он. Христос-воин. Политическое солдатство как высшая христианская добродетель. Государство, нация как воплощение Божьего порядка. Очищение от «скверны». Все элементы формулы были на месте.

— Косово — это наш Иерусалим! — продолжал греметь Амфилохий. — Газиместан — это наша Голгофа! И если нужно, чтобы Сербия спаслась, мы снова должны быть готовы взойти на эту Голгофу! Каждый из нас — Лазарь! Каждому из нас сегодня предстоит сделать выбор между земным и небесным! Но помните: тот, кто предает землю, на которой стоят наши монастыри, предает и Небо, которое они держат!

Он замолчал, и наступила звенящая тишина. Миллион человек замерли. А потом поле взорвалось. Это был не крик, не рев. Это был какой-то первобытный, стихийный вой. Люди плакали, обнимались, потрясали кулаками. Молодые парни срывали с себя рубашки, били себя в грудь. Они были готовы. Прямо сейчас, с голыми руками, они были готовы идти и умирать. И убивать.

Позже на трибуну вышел Слободан Милошевич. Он говорил спокойно, почти буднично, на фоне этой бушующей стихии. Он говорил о битвах, которые предстоят сербскому народу, — и не обязательно вооруженных. Но все уже поняли, о каких битвах на самом деле идет речь. Митрополит уже отслужил молебен на начало войны. Политик лишь дал отмашку.

Стефан с трудом выбрался из толпы. Он чувствовал себя опустошенным, выжженным изнутри. Он сел в машину. Руки дрожали. Он закурил, но не почувствовал вкуса табака. Он смотрел на это поле, на это море людей, охваченных священным безумием, и понимал: репетиция окончена. Актеры выучили свои роли. Декорации установлены. Проклятая пьеса, написанная полвека назад в кабинетах немецких теологов и гестаповских чиновников, нашла свою идеальную сцену и свою массовку.

Он завел двигатель и поехал прочь, в сторону Приштины. Он ехал мимо албанских сел, погруженных в свою мертвую, враждебную тишину. Он видел в зеркале заднего вида зарево от костров на Газиместане и слышал доносившийся оттуда гул. Гул приближающегося Апокалипсиса. Саркофаг князя Лазаря завершит свой путь, его вернут в Раваницу. Но джинн, выпущенный из него, уже никогда не вернется обратно. Он останется здесь, на этой древней, проклятой земле, чтобы требовать новых жертв. И Стефан знал, что очень скоро он их получит. В изобилии.

Глава 3. Симфония Церкви и Государства: Патриарх и Президент

Возвращение в Белград было похоже на всплытие из глубин мутного, ледяного озера. Стефан ехал несколько часов, и все это время в ушах у него стоял не рев мотора его старенького «Юго», а нечеловеческий, первобытный вой миллионной толпы на Газиместане.

Он въехал в город поздно ночью. Белград, который он покинул всего несколько недель назад, показался ему другим. Не внешне — те же серые фасады социалистических новостроек, те же редкие островки довоенной архитектуры, та же усталая подсветка правительственных зданий. Изменился воздух. Если по всей Сербии за саркофагом князя Лазаря следовал горячий, пыльный дух средневекового экстаза, то здесь, в столице, воздух стал холодным, плотным и острым, как сталь. Это был воздух приказа, воздух мобилизации, воздух принятого решения. Репетиция окончилась. Началось развертывание сил.

Стефан бросил машину у своего дома в Новом Белграде, поднялся в квартиру. Он не стал включать свет. Прошел на кухню, налил себе стакан ракии и вышел на балкон. Город лежал перед ним, расчерченный линиями фонарей, пульсирующий редкими огнями фар. Он казался спящим, мирным. Но Стефан знал, что это иллюзия. Под этим асфальтом, в этих бетонных коробках, в головах миллионов людей сейчас происходила необратимая химическая реакция. Формула, выведенная полвека назад в тиши немецких кабинетов, была активирована. Вирус, выпущенный из древнего саркофага, достиг центральной нервной системы нации. Газиместан был инъекцией. Теперь яд растекался по артериям, достигая столицы, чтобы отсюда отдавать команды всему организму.

Он осушил стакан. Алкоголь не согрел, лишь подчеркнул внутренний холод. Он думал о словах митрополита Амфилохия, о его голосе, похожем на камнепад. Это была проповедь, но это был и приказ. Он думал о лице Милошевича, спокойном, почти скучающем лице банковского клерка, который подводит итоги чрезвычайно успешной финансовой операции. Операции по конвертации шестисотлетней скорби в политический капитал. Он, Стефан, видел все этапы процесса. От теоретической разработки в гестаповском архиве до полевых испытаний на дорогах Сербии. И теперь он должен был стать свидетелем финального акта — слияния, заключения официального пакта между двумя главными архитекторами. Церковью и Государством.

Следующие дни подтвердили его худшие опасения. Газеты, которые до поездки еще позволяли себе толику иронии или сдержанного анализа, теперь говорили в один голос. Голосом Амфилохия. Заголовки кричали о «духовном возрождении», «возвращении к корням», «косовском завете». Фотографии с Газиместана занимали целые развороты. Лица людей, искаженные экстатической гримасой, подавались как лики просветленных. Священники и политики на трибуне — как новые отцы нации. Телевидение крутило документальные фильмы, где история Косовской битвы плавно, без швов, перетекала в репортажи о притеснениях сербов в современном Косове. Реальность и миф были окончательно склеены. Любая попытка разделить их теперь выглядела как национальное предательство.

Стефан чувствовал себя чужим в своем собственном городе, в своей профессии. Он зашел в редакцию, чтобы сдать фотографии. Его редактор, Вукашин, старый партизан и убежденный коммунист до мозга костей, встретил его с несвойственной ему суетливостью. Он не смотрел в глаза. Он быстро пролистал снимки, отбирая самые нейтральные — общие планы, толпу без крупных планов лиц.

— Отличная работа, Стефан, — пробормотал он. — Очень... масштабно. Дадим на полосу. Народ должен видеть свое единство.

— Единство в чем? — тихо спросил Стефан.

Вукашин наконец поднял на него глаза. В них была усталость и страх.

— Не умничай, — сказал он почти шепотом. — Времена изменились. Ты же видишь, что происходит. Это теперь главная линия. Мы должны ее поддерживать.

— Мы журналисты, Вукашин. Мы не должны ничего поддерживать. Мы должны анализировать.

— Анализировать? — редактор горько усмехнулся. — Анализировать будешь у себя на кухне. А здесь — пиши, что говорят. Или не пиши вообще. Послушай меня, я старый человек. Я видел, как

такие «единства» начинаются. И чем заканчиваются. Просто делай свою работу и не лезь на рожон. Иначе... — он не договорил, махнул рукой и отвернулся к окну.

Стефан вышел из редакции, как оплеванный. Он понял, что его профессиональное поле деятельности сузилось до размеров тюремной камеры. Он мог описывать события, но не мог объяснять их смысл. Он мог быть фотографом, но не диагностом. Его папка с надписью «Архитекторы Зла» казалась теперь не ключом к пониманию, а смертельно опасным компроматом на самого себя.

Но он не мог остановиться. Это было сильнее его. Мания исследователя, упрямство человека, увидевшего механизм и не способного сделать вид, что это просто набор случайных деталей. Он знал, что следующий шаг должен быть сделан здесь, в Белграде. Неформальный союз, скрепленный на Газиместане, должен был получить официальное благословение. Симфония, как называли византийцы идеальные отношения Церкви и империи, должна была быть исполнена перед публикой. И главными дирижерами в ней должны были стать Патриарх и Президент.

Стефан начал обзванивать свои старые контакты. Большинство из них, чиновники среднего звена, бывшие коллеги, ушедшие в правительственный пул, либо не брали трубку, либо отделивались общими фразами. Стена молчания и страха нарастала с каждым днем. Но один человек ответил. Это был отец Михаил, пожилой священник, служивший в администрации Патриархии. Стефан познакомился с ним несколько лет назад, когда писал статью об истории белградских церквей. Отец Михаил был человеком старой закалки, книжником, интеллектуалом, для которого православие было религией любви и внутреннего преображения, а не политической идеологией. Он с нескрываемым отвращением относился к новому, «воинствующему» крылу в Церкви, которое он называл «ревнителями не по разуму».

— Стефан, сын мой, — голос в трубке был тихим и усталым. — Рад тебя слышать. Хотя и догадываюсь, что звонишь ты не из праздного любопытства.

— Вы правы, отче. Я пытаюсь понять, куда мы все движемся. А эпицентр, как мне кажется, сейчас у вас.

В трубке повисло молчание. Стефан слышал только тихое, прерывистое дыхание старика.

— Ты хочешь знать о встрече? — наконец сказал отец Михаил.

Сердце Стефана екнуло.

— Она была?

— Она будет. Завтра. В Патриаршем дворце. Президент сам изъявил желание приехать. Чтобы засвидетельствовать свое почтение Его Святейшеству. «Засвидетельствовать почтение»... — старик горько усмехнулся. — Какие лицемерные слова. Он едет не за почтением. Он едет за индульгенцией. И за легитимностью, которую не может дать ему ни партия, ни народ. Только Церковь.

— И что Патриарх? Он согласился?

Патриарх Павел, новый глава Церкви, был для всех загадкой. Аскет, монах, человек невероятной личной скромности, который, по слухам, сам чинил себе обувь и ездил на городском трамвае. Он казался полной противоположностью властным, политизированным епископам вроде Амфилохия.

— Его Святейшество — монах, — медленно произнес отец Михаил. — Он молится о спасении мира. А эти... — он запнулся, — эти говорят с ним на языке спасения нации. Они говорят ему, что Церковь после десятилетий гонений должна вернуть себе голос. Что настал исторический шанс. Что народ ждет слова пастыря. Он человек смиренный, но он глава Церкви. И он не может игнорировать голос своего Синода. Особенно когда этот голос звучит как труба архангела. Ты ведь слышал нашего черногорского митрополита?

— Я слышал его на Газиместане, — глухо ответил Стефан.

— Тогда ты все понимаешь. Против такого напора не устоит и святой. Тем более что рядом с ним наш богослов-интеллектуал, владыка Ириней. Он облакает этот рев в изящную философскую форму. Он

говорит Патриарху о симфонии, о священном долге перед историей, о защите веры. Один рычит, как лев, другой поет, как сирена. А наш старец сидит между ними, перебирает четки и молится. Боюсь, его молитв уже недостаточно.

— Я могу вас увидеть, отче? После встречи.

Снова долгое молчание. Стефан представлял, как старый священник сидит в своей полутемной келье, среди книг, и взвешивает риски.

— Хорошо, — наконец решил он. — Приходи послезавтра. Не сюда. В церковь Святого Марка, после вечерней службы. Я буду там. Только будь осторожен, сын мой. Воздух стал ядовитым. И те, кто пытается дышать чем-то другим, начинают кашлять кровью.

Два дня Стефан жил как в тумане. Он ждал. Он читал старые книги по византийской истории, перечитывал свои выписки из гестаповского архива. Все сходилось. Империя, находящаяся в кризисе, ищет новую идеологию. Церковь, желающая вернуть былое могущество, предлагает ей эту идеологию. Византийская «симфония властей» — священства и царства — была моделью. Но здесь, в конце двадцатого века, в распадающейся социалистической стране, эта модель превращалась в чудовищную пародию. Вместо императора — бывший партийный функционер. Вместо вселенского православия — трайбалистский национализм, замешанный на крови и почве. Но технология была той же. Государство давало Церкви силу, Церковь освящала насилие государства.

**Примечание: В контексте Югославских войн термин "трайбалистский национализм" часто используется для описания того, как национализм в регионе скатился к примитивной, этнически исключительной и агрессивной форме. Это деградация национализма до уровня племенной вражды, где лояльность к "нации" основана исключительно на этническом происхождении и направлена на исключение всех "чужих").*

Вечером назначенного дня он пришел к церкви Святого Марка. Огромное, величественное и какое-то неуютное здание из красного кирпича, попытка подражать средневековому монастырю Грачаница. Служба уже закончилась. Последние прихожане расходились. Стефан

вошел внутрь. Пахло ладаном и остывающим воском. В полумраке гулкого нефа он увидел одинокую фигуру в черной рясе у одной из боковых колонн. Отец Михаил.

Он подошел. Священник не обернулся, продолжая смотреть на огромную мозаику над алтарем.

— Она состоялась, — сказал он тихо, не здороваясь. Его голос эхом отдавался под высокими сводами. — Симфония была исполнена. Правда, больше это походило на сделку в воровском притоне, чем на встречу глав двух институтов.

Стефан молчал, давая ему выговориться.

— Они приехали — Президент и двое его помощников. Без лишней помпы. Наши уже ждали их в большом зале для приемов. Его Святейшество сидел во главе стола, бледный и тихий, как будто не от мира сего. По правую руку от него — митрополит Амфилохий, черный, напряженный, как сжатая пружина. По левую — епископ Ириней, с его обычной академической улыбкой, от которой мороз по коже. Были и другие члены Синода, но они молчали. Они были массовой. Главную партию играли эти трое.

Отец Михаил перекрестился.

— Президент начал издавека. Говорил о тяжелом историческом моменте, о единстве народа, которое было явлено на Газиместане. Благодарил Церковь за ее роль в «пробуждении национального самосознания». Он говорил скользкими, обтекаемыми словами партийного аппаратчика. Это было фальшиво, и все это чувствовали. Амфилохий не выдержал первым. Он прервал его, даже не извинившись. «Господин Президент, — сказал он, и голос его прозвучал в зале как удар колокола. — Оставим красивые слова. Народ пробудился. Он ждет не слов, а дела. Наши святыни в Косове в опасности. Наши братья там живут в страхе. Церковь сделала свое дело — она исцелила душу народа. Теперь государство должно защитить его тело. И его землю».

Стефан представил эту сцену: лощеный, холеный Милошевич и рядом с ним — этот библейский пророк, одетый в черное, с горящими глазами. Сила земная и сила, претендующая на небесное происхождение.

— Президент даже не моргнул, — продолжал отец Михаил. — Он этого и ждал. «Церковь и государство, владыка, — это две руки одного организма, сербского народа. И я с вами полностью согласен. Государство готово применить всю свою силу для защиты национальных интересов. Но для этого нам нужно полное и безоговорочное единство. Мы не можем позволить себе никаких колебаний, никакой критики изнутри. Нам нужна ваша поддержка. Не тайная, не в кулуарах. А открытая, ежедневная. Слово Церкви должно звучать с каждого амвона, из каждого прихода. Люди должны знать, что их борьба — праведная. Что это не политика, а защита веры и очагов».

Отец Михаил замолчал, тяжело вздохнул.

— Тут вступил Иринеи. О, этот самый опасный из них. Амфилохий — это стихия. А Иринеи — это ум, холодный и острый, как скальпель. Он начал говорить о «кововском завете». О том, что выбор князя Лазаря в пользу Царствия Небесного не был поражением, а был залогом вечной жизни нации. И что наш долг сегодня — подтвердить этот завет. Но подтвердить его не уходом из истории, а утверждением своей правды в истории. Он цитировал святых отцов, немецких философов, говорил о метафизике нации... Это была блестящая, дьявольски изящная речь. Он упаковал грубую политическую потребность в такую богословскую обертку, что даже самые сомневающиеся должны были поддаться. Он, по сути, сказал: война, на которую вы нас благословляете, — это не грех, а высший акт духовного служения. Политическое солдатство, как ты понимаешь.

Стефан кивнул. Формула Кюннета в действии. Он почти физически ощущал, как звенья цепи соединяются.

— А что Патриарх? — спросил он.

— Его Святейшество молчал почти все время. Он слушал, и лицо его становилось все печальнее. В какой-то момент, когда они уже обсуждали конкретные вещи — возвращение Церкви ее собственности, преподавание Закона Божьего в школах, присутствие священников в армии, — он тихо сказал: «А как же другие? На той земле живут и другие люди. Албанцы, мусульмане... Они тоже дети Божьи». В зале повисла тишина. Амфилохий посмотрел на Патриарха таким взглядом... будто на неразумного ребенка. «Они сделали свой выбор, Ваше Святейшество, — пророкотал он. — Они пошли за Агарой, а не за Саррой. Они веками были бичом Божьим для нашего народа. И если мы не остановим их сейчас, от наших святынь не останется и камня. Милосердие — великая добродетель. Но милосердие к волку означает смерть для овец».

— После этого Патриарх больше не сказал ни слова. Он просто сидел, опустив глаза, и перебирал четки. А они — Президент и два владыки — быстро договорились обо всем. Церковь дает полную моральную поддержку. Государство — полную свободу действий и все привилегии. В конце Президент встал, подошел к Патриарху и попросил благословения. Для себя и для «богохранимого сербского народа». И Его Святейшество... он поднял руку и благословил его. Может быть, он благословлял не его, а страдающий народ. Может, он молился в этот момент о мире. Но со стороны это выглядело как то, чего они и хотели: Патриарх благословляет Президента на его будущие дела. Сделка была скреплена. Симфония превратилась в увертюру к войне.

Отец Михаил замолчал. Он выглядел постаревшим на десять лет.

— Я ухожу, Стефан, — сказал он после долгой паузы. — Я попросил о переводе. В один из затерянных монастырей в горах. Я больше не могу находиться здесь. Не могу служить литургию в одном алтаре с теми, кто превращает Чашу Христову в сосуд для яда. Я книжник, а не воин. И когда книги сжигают, чтобы разжечь костер войны, книжникам остается только молиться в пустыне.

Он протянул Стефану свою сухую, холодную руку.

— Береги себя, сын мой. Ты ходишь по лезвию бритвы. Они не прощают тех, кто видит их насквозь. Особенно когда они сами уверовали в свою ложь.

Он развернулся и медленно пошел вглубь темной церкви, его черная фигура растворилась во мраке у алтаря.

Стефан вышел на улицу. Ночной Белград оглушил его после церковной тишины. Он шел, не разбирая дороги. В голове его бились слова старого священника. «Сделка скреплена». Теперь он знал. Он знал не только технологию, но и конкретный момент ее окончательной сборки. У него была история. Страшная, взрывоопасная история о том, как в тиши Патриаршего дворца была продана душа целого народа.

На следующий день он сел за свою пишущую машинку. Пальцы летали над клавишами. Он писал не статью, а обвинительное заключение. Он описал все: путешествие саркофага как инструмент психологической обработки, тайную встречу в Патриархии как циничный политический пакт, облеченный в религиозные одежды. Он использовал всю информацию от отца Михаила, не называя, конечно, его имени. Он цитировал по памяти выдержки из документов Кюннета, проводя прямые параллели между теологией Третьего Рейха и проповедями новых сербских «пророков». Это был самый сильный и самый опасный текст, который он когда-либо писал. Он озаглавил его просто: «Симфония».

Он принес текст Вукашину. Редактор прочитал его прямо при нем, не отрываясь. Его лицо становилось все более серым. Когда он дочитал последнюю страницу, он долго молчал, глядя на лист бумаги.

— Ты подписал себе смертный приговор, — сказал он наконец глухим голосом.

— Я просто написал правду, — ответил Стефан.

— Правда? — Вукашин истерически рассмеялся. — Какая к черту правда? Сейчас нет никакой правды! Есть только «наша» и «их». И ты написал текст, который не «наш». Ты понимаешь, что со мной сделают, если я это напечатаю? А с тобой? Тебя не уволят. Тебя просто найдут

однажды в каком-нибудь кювете со сломанной шеей. И скажут, что это бытовая ссора. Или несчастный случай.

Он взял текст, скомкал его и бросил в корзину для мусора.

— Уходи, Стефан. Возьми отпуск. Бессрочный. Поезжай куда-нибудь. И молись, чтобы никто не узнал, что ты это написал. Я никому не скажу. Но если об этом узнают те, о ком ты пишешь... я тебе не завидую.

Стефан смотрел на скомканные листы в корзине. Это был не просто текст. Это была его вера в профессию, в силу слова, в здравый смысл. И эту веру только что выбросили в мусор.

Он вышел на улицу. День был солнечным и теплым. Мимо шли люди, смеялись, ели мороженое. В газетном киоске он увидел свежий номер главной государственной газеты. На первой полосе — большая фотография. Президент Милошевич и Патриарх Павел пожимают друг другу руки. Подпись гласила: «Единство Церкви и Народа во имя будущего Сербии». Стефан посмотрел на фотографию. На спокойное, почти непроницаемое лицо Президента. И на скорбное, отрешенное лицо Патриарха, чью руку держал политик. Руку, которая его благословила.

Он купил газету. Развернул. Внутри — подробный, елеинный отчет о «исторической встрече». Ни слова о сделке. Только общие фразы о взаимном уважении, общих ценностях и совместной заботе о народе. Симфония, написанная для публики, звучала безупречно. Фальшивые ноты были слышны только тем, кто, как он, побывал за кулисами.

Он пришел домой, сел за стол. Достал из ящика папку «Архитекторы Зла». Положил рядом с ней газету с фотографией. Теория и практика. Немецкая схема и ее сербское воплощение. Все было на месте. Машина работала. И он, Стефан, был не более чем песчинкой, попавшей в ее шестерни. Он был один. Его редактор предал его из страха. Его источник скрылся в монастыре. А вся страна, загипнотизированная этой дьявольской симфонией, маршировала к пропасти, с восторженными песнями на устах. Он налил себе еще один

стакан ракии, залпом выпил. Жжение в горле было единственным реальным ощущением в этом мире, сошедшем с ума. Он смотрел на фотографию, на сплетение рук Патриарха и Президента, и понимал, что это рукопожатие скрепляет не мир. Оно скрепляет будущую войну. И кровь, которая прольется, будет и на этих руках. На руках политика, жаждущего власти, и на руках святого старца, чья слабость или смирение стали последним элементом в адской машине разрушения.

Глава 4. «Антикульт» как лицензия на убийство: Боснийский фронт

Отпуск, в который его отправил Вукашин, был похож на заключение в одиночной камере. Белград, его родной город, стал для Стефана тюрьмой. Каждый газетный заголовок, каждый выпуск новостей по телевизору был кирпичом в стене, отгородившей его от реальности, которую он знал. На улицах он видел тех же людей, но в их глазах появилось новое, напряженное выражение — смесь гордости, тревоги и плохо скрываемой агрессии. Они были подключены к государственной машине пропаганды, и по их венам теперь тек высоковольтный ток национального мифа. Он, со своим знанием, со своей папкой «Архитекторы Зла», был аномалией, сбоем в системе. И система рано или поздно должна была его устранить.

Он перестал выходить из дома. Дни напролет он сидел в своей квартире в Новом Белграде, глядя на серые бетонные панели соседних зданий. Он снова и снова перечитывал свои записи, выписки из гестаповских документов, конспект проповеди Амфилохия, рассказ отца Михаила. Цепь была выкована и замкнута: теология политического солдатства, рожденная в нацистской Германии; массовый психоз, вызванный путешествием мощей; циничная сделка между партийным боссом и князьями Церкви. Но ему не хватало последнего звена. самого страшного. Он видел, как заряжали ружье. Он видел, как на него

получали благословение. Но он не видел, как из него стреляют. Теория должна была воплотиться в практику. Абстрактное зло должно было обрести лицо, запах и звук.

Однажды вечером ему позвонил старый знакомый, иностранный журналист, с которым они пересекались в Косове пару лет назад.

— Стефан? Это ты? Я слышал, ты в опале.

— Можно и так сказать, — глухо ответил Стефан.

— Слушай, тут происходит что-то странное. Ты же знаешь, что началось в Боснии. Все как обычно — армия, резервисты, блокпосты... Но есть и другие. Добровольческие отряды. И среди них один... особенный. Они называют себя «Тигры Аркана». Ими командует некто, известный как Аркан. Они невероятно жестоки, но дело не в этом. Они действуют не как солдаты, а как... миссионеры. Я говорил с парой беженцев. Они рассказывают безумные вещи. Что эти «ангелы» не просто убивают или грабят. Они проводят какие-то ритуалы, читают проповеди над телами убитых, говорят, что «изгоняют демонов» и «очищают землю от ереси». Они называют боснийских мусульман не турками, не врагами, а... «культом». А свою операцию — «антикультовой депрограммацией». Тебе это ничего не напоминает?

Стефан замер с трубкой в руке. Кровь отхлынула от его лица. «Антикульт». Это было то самое слово. Недостающее звено. Клинический, почти научный термин, который превращал убийство в санитарную процедуру. Формула, снимающая последнюю моральную ответственность. Это было прямо из методичек Кюннета, только переведенное на современный, почти светский язык.

— Где они? — спросил он, и собственный голос показался ему чужим.

— Восточная Босния. Где-то в районе Зворника. Но подобраться к ним почти невозможно. Они никому не доверяют, особенно журналистам. Говорят, что пресса — это инструмент «культа». Слушай, Стефан, не лезь туда. Эти люди — настоящие фанатики. Это не солдаты, это крестоносцы двадцатого века.

Но Стефан его уже не слушал. Он знал, что должен ехать. Его исследование не будет закончено, пока он не увидит это своими глазами. Сидеть в Белграде и ждать, пока за ним придут, было медленным самоубийством. Поехать туда, на фронт, было самоубийством быстрым, но это был его выбор. Это был единственный способ завершить свою работу, дописать последнее, самое страшное предложение в своем обвинительном заключении.

Он собрался за час. Старенький «Юго», верный друг, который возил его по дорогам косовского безумия. Фотоаппарат с парой объективов. Смена белья. Блокнот и несколько ручек. И папка «Архитекторы Зла», которую он спрятал под обшивкой водительской двери. Это было его завещание и его проклятие.

Дорога в Боснию была путешествием в другой мир. Чем дальше он отъезжал от Белграда, тем больше менялся ландшафт — не только географический, но и человеческий. Блеск и самоуверенность столицы сменялись провинциальной суетой, а затем — напряженной, ошетилившейся тишиной прифронтной зоны. Все чаще на дорогах попадались блокпосты. Люди в разномастной форме, со смесью армейского камуфляжа и гражданской одежды, с автоматами Калашникова наперевес, проверяли документы. Их лица были обветренными, усталыми, а глаза — пустыми или, наоборот, горящими нездоровым огнем. Воздух пах сосновой хвоей, сырой землей и гарью. Иногда издалека доносился глухой, раскатистый гул — артиллерия.

Он ехал несколько дней, петляя по проселочным дорогам, объезжая большие города. Он говорил всем, что едет к больной тетке в Баня-Луку. Легенда была слабой, но в этом хаосе никто не вдавался в детали. У него был сербский паспорт и белградские номера — это было главным пропуском.

Наконец, в маленьком городке недалеко от Дрины, он нашел то, что искал. Он зашел в единственную работавшую кафану, чтобы выпить кофе и собрать слухи. За одним из столиков сидела компания бородатых мужчин в черных униформах без знаков различия. Стефан сел неподалеку и стал слушать. Они говорили громко, с пьяной бравადой, о

своих «подвигах». И слова, которые они использовали, заставили его похолодеть. Они не говорили «мы взяли деревню». Они говорили «мы провели санацию». Они не говорили «убили врагов». Они говорили «устранили носителей вируса». Один из них, самый молодой, с восторгом рассказывал, как их командир, Аркан, «заговорил» мечеть, и она «сама очистилась огнем».

Это были они. «Тигры Аркана».

Стефан допил свой кофе и подошел к их столу.

— Помоз Бог, юнаци, — сказал он, используя традиционное приветствие.

Они оглядели его с головы до ног с нескрываемым подозрением.

— И тебе Бог помог, — ответил старший из них, массивный мужчина с седой бородой и шрамом через всю щеку. — Ты кто такой будешь?

— Стефан Костич. Журналист из Белграда. Пишу книгу о возрождении сербского духа. О героях нашего времени.

Это был огромный риск. Они могли пристрелить его на месте. Но он поставил все на одну карту: их тщеславие.

Мужчина со шрамом расхохотался.

— Книгу? О нас? А ты не боишься, писатель, что материал для твоей книги окажется слишком... горячим?

— Я был на Газиместане, — спокойно сказал Стефан. — Я слышал митрополита. Я видел, как просыпается народ. Теперь я хочу увидеть тех, кто несет этот дух на своих штыках. Я слышал об Аркане. Говорят, он не просто военачальник, а духовный лидер. Я хотел бы поговорить с ним.

В их глазах на мгновение мелькнул интерес, смешанный с уважением. Упоминание Газиместана и митрополита было паролем.

— Командир не любит писак, — проворчал седобородый. — Они все лгут. Служат своим хозяевам за границей.

— Я служу только Сербии, — твердо сказал Стефан. — И правде. А правда сейчас здесь, на этой земле. И ее творите вы. Если вы боитесь правды, то я уеду.

Он развернулся, чтобы уйти.

— Стой.

Он остановился, не оборачиваясь.

— Как тебя зовут, говоришь? Стефан? Пойдем. Командир сам решит, что с тобой делать. Но если ты солгал хоть слово, твоей книгой станет эпитафия на безымянной могиле у Дрины.

Они вывели его из кафаны и затолкали в кузов военного грузовика. Через полчаса тряски по лесной дороге они приехали в их лагерь. Это был заброшенный пионерский лагерь или турбаза. Деревянные домики, столовая, площадка для построений. Но мирная обстановка была нарушена реальностью войны. Везде стояли ящики с боеприпасами, грузовики с замазанными грязью номерами, люди в черной форме чистили оружие. Посреди площадки на флагштоке вместо югославского флага висел черный стяг с белым крестом.

Его привели в самый большой дом, очевидно, бывшее здание администрации. В просторном кабинете за массивным дубовым столом сидел человек. На вид ему было лет сорок. У него не было ни бороды, ни шрамов. Чисто выбрит, с короткой стрижкой, одет в такую же черную форму, но идеально чистую и отглаженную. У него были светлые, почти прозрачные голубые глаза, которые смотрели на Стефана спокойно и внимательно. Это был взгляд ученого, хирурга или инквизитора. Это и был Аркан.

— Журналист, — сказал он тихо, без вопросительной интонации. Его голос был спокойным и культурным, совершенно не вязавшимся с окружающей обстановкой. — Мои люди сказали, вы хотите написать книгу. О чем? О «военных преступлениях»? О «этнических чистках»? Вы уже придумали заголовок? «Сербские звери»?

— Я хочу написать о теологии войны, — так же спокойно ответил Стефан. — О том, как идея превращается в действие. Я слышал, вы называете своих врагов «культом». Я хочу понять, что это значит.

Аркан откинулся на спинку стула и впервые улыбнулся. Но улыбка не коснулась его ледяных глаз.

— Теология войны... Интересная формулировка. Вы образованный человек. Это опасно в наше время. Но вы пришли по адресу. Да, мы не воюем с народом. Воевать с народом — это примитивно. Мы ведем санитарную операцию. Мы — санитары леса.

Он встал и подошел к большой карте на стене. Это была карта Боснии, испещренная пометками.

— Посмотрите сюда, Стефан. Что вы видите? Города, реки, горы? Это иллюзия. На самом деле это — зараженная ткань. Пятьсот лет назад сюда проник вирус. Вирус ислама. Он не просто поработил наших людей. Он изменил их генетический и духовный код. Они перестали быть сербами, славянами. Они стали чем-то другим. Они — потурицы. Предатели крови и веры. Но вирус был в спящем состоянии, пока Югославия с ее «братством и единством» держала его в узде. А теперь он проснулся. Он мутировал в агрессивную форму. Это не религия в традиционном смысле. Это тоталитарная идеология, секта, культ, который стремится к полному доминированию. Они называют себя «босняками», придумали себе нацию. Но это лишь маска. Под ней — фанатичная преданность чужому богу и ненависть к своим корням.

Он говорил ровно, убежденно, как профессор, читающий лекцию. Стефан слушал, и по его спине пробежал холодок. Он слышал эхо речей Амфилохия, но очищенное от библейского пафоса и облеченное в псевдонаучную форму. Это была та самая технология, доведенная до совершенства.

— Обычная армия здесь бессильна, — продолжал Аркан. — Солдат может убить врага. Но как убить идею? Как убить вирус? Вы не можете стрелять в вирус. Вы должны уничтожить его носителей и очистить среду его обитания. Дезинфекция. Депрограммация. Вот чем мы

занимаемся. Мы не солдаты. Мы — врачи. Хирурги. А иногда и патологоанатомы. Мы ставим диагноз, а затем проводим операцию. Радикальную, да. Болезненную. Но необходимую для выживания всего организма. Нашего, сербского организма.

— А что же люди? — тихо спросил Стефан. — Женщины, дети... Они тоже «носители вируса»?

Аркан посмотрел на него долгим, изучающим взглядом.

— Вы задаете правильные вопросы, журналист. Но мыслите устаревшими категориями. «Женщины», «дети»... Это биологические термины. Мы же оперируем в духовной плоскости. Женщина «культа» родит новых адептов «культа». Ребенок, воспитанный в «культе», вырастет фанатиком «культа». Вирус передается не только генетически, но и информационно. Через язык, через колыбельные, через молитвы. Поэтому очищение должно быть тотальным. Чтобы спасти лес, иногда приходится сжигать не только больные деревья, но и всю поляну вокруг них, чтобы зараза не пошла дальше. Вы понимаете?

Стефан молчал. Он понимал слишком хорошо. Он видел перед собой идеального «политического солдата» Вальтера Кюннета. Человека, для которого убийство стало не грехом и не преступлением, а технической необходимостью, даже духовным долгом. Аркан не был садистом или мародером. Он был хуже. Он был верующим.

— Я вижу, вы понимаете, — кивнул Аркан. — Поэтому я позволю вам остаться. Вы станете нашим летописцем. Вы увидите все своими глазами. Вы увидите, как мы лечим эту землю. Завтра на рассвете мы проводим операцию в селе К... Там крупный очаг инфекции. Старая мечеть, медресе. Настоящий инкубатор. Вы поедете с нами. Но при одном условии. Вы будете только смотреть. Никаких фотографий без моего разрешения. И никакого общения с «пациентами». Ваша задача — понять нашу философию. А не оплакивать неизбежные хирургические отходы. Договорились?

Стефан кивнул. Слова застряли у него в горле. Он чувствовал себя энтомологом, которого заперли в банке с ядовитыми пауками.

Ночь он провел в одном из пустых домиков, на скрипучей койке. Он не спал. Он слушал пьяные песни боевиков, перемежавшиеся выстрелами в воздух, и думал о ледяных глазах Аркана. Он думал о том, что зло — это не обязательно рычащий монстр с окровавленными клыками. Иногда зло носит чистую униформу, говорит спокойным голосом и считает себя врачом, спасающим мир. Это было самое страшное открытие.

На рассвете его разбудил рев моторов. Отряд готовился к выезду. Стефана посадили в бронетранспортер рядом с Арканом. Командир был спокоен, сосредоточен, будто ехал на обычную работу в офис. Он даже пил кофе из термоса.

— Нервничаете, Стефан? — спросил он. — Не стоит. Просто наблюдайте. Смотрите не на то, что мы делаем, а на то, почему мы это делаем. Смотрите на логику процесса.

БТР остановился на холме над небольшой деревней. Она лежала в долине, окутанная утренним туманом. Мирная, сонная картина — домики с черепичными крышами, сады, тонкий минарет мечети, пронзающий небо.

— Вот она. К..., — сказал Аркан, глядя в бинокль. — Классический случай. С виду — идиллия. Но это раковая опухоль. Каждый дом — метастаз. Мечеть — это сердце опухоли, которое качает зараженную кровь. Наша задача — провести тотальную резекцию.

Он отдал по радиации короткий приказ. И ад начался.

Сначала ударила артиллерия. Несколько залпов по центру села, по мечети. Минарет качнулся и рухнул, подняв облако пыли. Затем по склонам холмов, с трех сторон, в деревню начали входить «Тигры Аркана». Они двигались не как регулярная армия, не перебежками, а спокойно, методично, как санитарная команда.

Стефан смотрел в бинокль, и его руки дрожали. Он видел, как боевики врываются в дома. Слышал крики, короткие автоматные очереди. Он видел, как из домов вытаскивают людей — мужчин,

женщин, стариков. Их сгоняли на центральную площадь перед развалинами мечети.

— Первый этап — сепарация, — комментировал Аркан, не отрывая бинокля от глаз. — Отделяем активных носителей от пассивных. Мужчины призывного возраста — это потенциальные боевики, воины «культа». Они подлежат немедленной ликвидации. Это не обсуждается.

И Стефан увидел, как мужчин отделили от толпы, отвели за сарай и расстреляли. Это было сделано буднично, без криков, без злобы. Как забой скота.

— Второй этап — дознание и фильтрация. Нужно выявить духовных лидеров, активистов, тех, кто поддерживал идеологию «культа». Они — самые опасные. Они — источник заразы.

На площади начались допросы. Боевики вытаскивали из толпы женщин и стариков, что-то кричали им, били прикладами. Аркан по рации отдавал команды, кого отвести в сторону.

— Вот, видите того старика в феске? Это местный имам. Духовный центр ячейки. Его нельзя просто убить. Его нужно сломать. Публично. Чтобы остальные увидели, что их вера бессильна.

Двое боевиков подтащили старика к тому, что осталось от мечети. Они заставили его есть землю и отречься от своей веры. Когда он отказался, его начали избивать. Стефан отвернулся. Его рвало.

Аркан посмотрел на него с легким презрением.

— Слабый желудок, журналист? Это всего лишь необходимая процедура. Как ампутация. Больно, некрасиво, но спасает жизнь всему телу.

Он снова повернулся к деревне.

— Третий этап — очищение среды. Дома, где жили самые активные адепты, должны быть сожжены. Чтобы стереть саму память о них. Мечеть — главный рассадник — уже уничтожена. Книги, символы «культа» — все подлежит сожжению. Это духовная дезинфекция.

По деревне пополз огонь. Запылали дома, сараи. Боевики тащили из уцелевших домов ковры, книги, одежду и бросали в большой костер, разведенный на площади. В воздухе смешался запах дыма, крови и страха.

Женщин, детей и уцелевших стариков погрузили в грузовики.

— Что будет с ними? — выдавил из себя Стефан.

— Их отправят в лагерь для перемещенных лиц. Это инкубатор, где они пройдут курс депрограммации. Некоторых, возможно, удастся вернуть в лоно сербства. Большинство — нет. Но, по крайней мере, они будут изолированы и не смогут распространять вирус дальше. Мы гуманны, Стефан. Мы не убиваем всех подряд, как варвары. Мы лечим.

БТР тронулся и начал спускаться в дымящуюся, кричащую деревню. Аркан хотел, чтобы его «летописец» увидел все вблизи.

Они остановились на площади. Вокруг лежали тела. У стены сарая, в лужах крови, корчились еще живые. Один из боевиков, молодой парень с безумными глазами, подходил и добивал их выстрелами в голову. Он улыбался.

Аркан вылез из БТР, за ним, шатаясь, выбрался Стефан. Командир подошел к груде тлеющих книг у развалин мечети. Он носком сапога выкатил из пепла обгоревший Коран.

— Вот корень болезни, — сказал он, обращаясь к Стефану. — Не люди. А эта книга. Эта идея. Мы воюем не с плотью. Мы воюем с духом. С чужим, враждебным духом. И мы победим. Мы вырвем его с корнем с этой земли, даже если для этого придется перекопать всю Боснию до самого центра Земли.

В этот момент из-за развалин выбежала маленькая девочка лет семи, в испачканном платье. Она, видимо, пряталась где-то. Она бежала через площадь, плача и зовя маму. Один из боевиков вскинул автомат.

— Не надо! — крикнул Стефан, сам не понимая, что делает.

Аркан поднял руку, останавливая солдата. Он посмотрел на девочку, потом на Стефана. В его глазах не было ничего, кроме холодного любопытства.

— Интересный случай, — сказал он, будто продолжая лекцию. — Носитель в латентной стадии. Что нам с ней делать, журналист? Согласно вашей гуманистической морали, ее нужно спасти, утешить, накормить. А согласно нашей, санитарной, она — бомба замедленного действия. Через десять лет она выйдет замуж за такого же «верующего», родит пятерых новых воинов джихада, которые придут убивать наших детей. Так что гуманнее, Стефан? Спасти ее сейчас и обречь на смерть сотни наших в будущем? Или устранить угрозу в зародыше?

Он смотрел прямо в глаза Стефану, ожидая ответа. И Стефан понял, что это ловушка. Экзамен.

— Она просто ребенок, — прошептал он.

Аркан медленно покачал головой.

— Вы провалили тест, журналист. Вы все еще мыслите эмоциями, а не логикой. Вы сентиментальны. А сентиментальность на войне — это предательство.

Он кивнул тому самому молодому боевику с безумными глазами. Тот ухмыльнулся, подошел к плачущей девочке и, не колеблясь, выстрелил ей в затылок.

Мир для Стефана взорвался. Это был не звук выстрела. Это был взрыв внутри его черепа. Он видел все: немецкие документы, лицо Амфилохия, рукопожатие Патриарха и Президента, и вот теперь — эту маленькую фигурку в пыли на площади. Цепь замкнулась. Теория стала телом. Слово стало смертью.

Он не помнил, как выхватил из кобуры одного из боевиков пистолет. Он не помнил, как направил его на Аркана. Он действовал на автомате, как сомнамбула. В ушах у него стоял вой.

— Ты... ты чудовище... — прохрипел он.

Аркан даже не пошевелился. Он смотрел на Стефана с разочарованием, как учитель на бездарного ученика.

— Я не чудовище. Я — будущее. А вы — прошлое. Реликт эпохи, которая не хотела видеть правду.

Прежде чем Стефан успел нажать на курок, его ударили сзади чем-то тяжелым. Последнее, что он увидел, прежде чем потерять сознание, было спокойное, почти отеческое лицо Аркана, и за ним — небо, затянутое черным дымом от горящей деревни.

Он очнулся в темном, сыром подвале. Голова раскалывалась. Он был один. Он пробыл там, кажется, вечность — день, два, три. Ему не давали ни еды, ни воды. Они не собирались его убивать сразу. Они хотели, чтобы он умер медленно, поняв, по словам Аркана, всю «логику процесса».

Но ему повезло. На третью ночь начался бой. По лагерю ударила артиллерия боснийской армии, началась контратака. В суматохе, под грохот взрывов, один из охранников, пожилой резервист, которого, видимо, достала вся эта «теология», сжалился над ним. Он отпер дверь подвала и прошипел: «Беги к реке, журналист. Беги и не оглядывайся. И расскажи всем, что ты видел. Это не воины. Это бесы».

И Стефан побежал. Он бежал через лес, не разбирая дороги, падая, поднимаясь, подгоняемый грохотом боя и образом мертвой девочки на площади. Он добрался до реки, переплыл на другой берег и несколько дней шел по территории, контролируемой боснийцами, пока не наткнулся на патруль ООН.

Сидя в безопасности, на борту вертолета, уносившего его из этого ада, он смотрел вниз на изуродованную, дымящуюся землю. Теперь он знал все. Он видел всю машину в действии, от чертежей до конвейера. И он понял главную, самую страшную вещь. «Антикульт» — это была не просто пропаганда. Это был гениальный по своей дьявольской сути механизм расчеловечивания не только жертвы, но и самого палача. Он позволял обычному человеку, фермеру, учителю, рабочему, превратиться в хладнокровного убийцу, искренне веря, что он

совершает богоугодное дело, что он не разрушает, а лечит. Это была лицензия на убийство, выписанная на небесах и заверенная на земле, превращающая войну в крестовый поход, а геноцид — в санитарную меру. И Стефан, держа в руках свой блокнот, залитый грязью и кровью, знал, что его книга, если он когда-нибудь сможет ее написать, будет не о войне. Она будет о том, как легко и просто убить в человеке Бога.

Глава 5. Война в умах: Медиа-машинерия и проповедь с амвона

В огромном, гудящем здании Радио-телевидения Сербии в Белграде, на третьем этаже, в аппаратной номер семь, реальность умирала каждый вечер в 19:30. И каждый вечер ее воскрешали, но уже в новом, измененном обличье. Марко, редактор вечернего выпуска «Дневника», был одним из главных некромантов этого процесса. Он не носил черной рясы, его оружием было не кадило, а монтажный пульт AVID, а его молитвы были сухими командами, которые он отдавал в микрофон гарнитуры: «Крупнее план на плачущую женщину... Убери звук этого взрыва, он слишком близко, дай фоном патриотическую музыку... Дай цитату министра информации, ту, где про „десятое колено“».

Сегодняшний материал был особенно «горячим», как говорил его начальник Урош, человек с мягкими, влажными ладонями и глазами, в которых цинизм давно вытеснил совесть. На стол Марко легла кассета с сырым материалом из Восточной Боснии. Снимал внештатник, рискованный парень, которому платили за эффектные кадры, а не за журналистскую этику.

Марко перемотал пленку. Вот оно. Дымятся руины деревни. Сербские добровольцы, бородатые, вперемешку в камуфляже и черной форме, позируют на фоне горящего дома. Один из них держит в руках отрезанную голову. Он смеется, показывая ее в камеру. Рядом его

товарищи тащат куда-то двух перепуганных женщин. Камера дрожит, слышен женский плач, грубые мужские крики и где-то на фоне — пьяная песня.

«Не пойдет, — пробормотал Марко, отматывая назад. — Слишком... откровенно. Урош снимет мою голову, если я это пушу».

Он закурил, и сизый дым смешался с запахом перегретой аппаратуры. Его работа была сродни работе мясника, который из окровавленной туши должен был сделать аккуратные, упакованные в вакуум стейки для супермаркета. Он должен был взять эту грязную, кровавую, воняющую правду и превратить ее в героический эпос.

Он снова просмотрел материал. Вот удачный кадр: сербский боец дает флягу с водой плачущей старухе-боснийке. Кадр длился три секунды, и Марко не видел, что было дальше, но этого было достаточно. Он вырезал его. «Сербские бойцы проявляют гуманизм даже к населению, которое поддерживало террористов», — мысленно сформулировал он строчку для диктора.

Вот еще. Развалины мечети. Камера панорамно снимает груды обломков. Отлично. Комментарий: «Уничтожено осиное гнездо исламских фундаменталистов, откуда велась снайперская стрельба по позициям Армии Республики Сербской». Никто не спросит, кто стрелял, был ли там снайпер, и почему для его уничтожения понадобилось снести все здание. Вопросы — это роскошь мирного времени. Сейчас время ответов. Простых, ясных, окончательных.

«Господи, что я делаю? Я же когда-то хотел быть как Ориана Фаллачи. Ездить по миру, брать интервью у сильных мира сего. Говорить правду. А теперь? Теперь я обслуживаю ложь. Я беру грязь, кровь, страдания и заворачиваю их в красивую обертку с национальным флагом. Зачем? За зарплату. За квартиру в кредит. За то, чтобы моя дочка ходила в хорошую школу и не знала, что ее отец — соучастник. Каждый вечер я прихожу домой, и жена спрашивает: „Ну как день?“. А что я ей скажу? Что я сегодня оправдал убийство десятков людей? Что я взял отрезанную голову и превратил ее в „решительный ответ на провокации“? Я молчу. Целую дочь в макушку и сажусь ужинать. И эта

еда кажется мне пеплом. Но я ем. Потому что завтра снова идти на работу. Включать пульт. Резать правду на удобные куски. Я не солдат. Я не убийца. Я просто делаю свою работу. Так ведь? Я просто монтажер... монтажер реальности».

Через час сырой, кровавый репортаж превратился в трехминутный сюжет о доблести сербского оружия. Деревня стала «освобожденным населенным пунктом». Боевики-мародеры — «героями-добровольцами». Убитые мирные жители — «ликвидированными экстремистами». Разрушенная мечеть — «уничтоженным штабом противника». Кадр со старухой и флягой стал центральным, символом сербского великодушия. Голоса, крики и плач были заглушены бравурной музыкой.

Урош зашел в аппаратную, когда Марко заканчивал. Он посмотрел готовый сюжет, одобрительно кивнул. — Отлично, Марко. То, что нужно. Патриотично, но без лишнего зверства. Чтобы и наши бабушки смотрели, и на Западе не придрались. Ты настоящий профессионал. — Я старался, Урош, — глухо ответил Марко, не глядя на начальника. — Вот что, добавь в конец синхрон Патриарха Павла с утренней службы. Что-нибудь про святую сербскую землю. Для духовной скрепы, так сказать. Чтобы люди поняли: это не просто война. Это священная миссия.

Марко кивнул. Священная миссия. Он нашел в архиве нужный фрагмент. Лицо Патриарха, доброе, аскетичное, появилось на экране. Он говорил тихим, проникновенным голосом о страданиях сербского народа, о Косове, о необходимости защищать свою веру и свои очаги. Кадры из Боснии, смонтированные Марко, шли под его слова фоном. И в этом сочетании рождался монстр: проповедь мира накладывалась на картину войны, и война обретала божественное оправдание.

В 19:30 по всей Сербии миллионы людей включили телевизоры. Они увидели то, что смонтировал Марко. И они поверили.

В тот же день, в небольшой церкви на окраине Белграда, отец Гаврило готовился к вечерней службе. Это был молодой священник, лет тридцати, с горящими черными глазами и густой бородой, которая

делала его похожим на иконописных святых воинов. В отличие от многих своих старших собратьев, обремененных цинизмом и привычкой к компромиссам с коммунистической властью, Гаврило был истинно верующим. Он верил в Бога, в Сербию и в то, что наступили последние времена, требующие от каждого не смирения, а действия.

Он не был знаком с Марко, редактором с РТС, но они делали одну и ту же работу. Марко препарировал реальность в аппаратной, Гаврило — в своей душе и на церковном амвоне. Его кафедра была таким же полем боя, как и холмы вокруг Зворника.

Он перечитывал Евангелие от Матфея: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Эти слова, которые веками толковались метафорически, сегодня звучали для него буквально. Меч. Вот он, обнаженный, сверкающий в руках сербских добровольцев в Боснии и Сербской Краине.

В его руках был свежий номер «Православия», официальной газеты Патриархии. На первой полосе — фотография разрушенной православной церкви где-то в Хорватии. Заголовок кричал: «Новый геноцид! Усташи и турки снова распинают Христа!». Внутри — статья, написанная высокопарным, полным библейских аллюзий языком. Она не призывала к мести напрямую. Нет, она была хитрее. Она говорила о «мученическом венце», о «небесной Сербии», о том, что сербы — народ-страстотерпец, который, подобно Лазарю, должен воскреснуть и доказать свое право на существование.

Но между строк читалось другое. Между строк звучал призыв к оружию.

Пожилая прихожанка: Страшно-то как, матушка. Опять война. Опять кровь. Господи, за что нам это? Продавщица свечей (молодая, активная женщина): А за веру нашу православную, тетя Милена! Разве не слышали, что отец Амфилохий говорил? Что мощи царя Лазаря не зря по земле нашей прошли? Это они нас разбудили! Турки снова голову подняли, в Боснии наших режут, церкви жгут. Если мы сейчас не встанем, они сюда придут! Пожилая прихожанка: Да какие турки, дочка? Это ж наши соседи, югославы... Мусульмане. Мы с ними всю

жизнь прожили... Продавщица (понижив голос, с жаром): Это не соседи! Это потурицы! Предатели! В них сидит бес агарянский. Отец Гаврило на прошлой проповеди объяснял. Они только притворяются людьми. А на самом деле они — культ. Секта сатанинская. И очистить землю от них — не грех, а богоугодное дело. Мой брат вот ушел в добровольцы. К Аркану. Говорит, они там не воюют, а землю нашу лечат. Как хирурги.

Отец Гаврило слышал этот разговор и чувствовал, как его сердце наполняется праведным гневом и гордостью. Его слова падают на благодатную почву. Он — не просто священник. Он — духовный офицер, политрук Христова воинства.

Вечером церковь была полна. Дымили свечи, мерцали золотые оклады икон. Лица людей в полумраке были напряженными, ищущими. Они пришли сюда не за утешением. Они пришли за смыслом. За оправданием той ненависти, которая уже поселилась в их душах, влитая туда теленовостями и газетными статьями.

Голос Гаврило гремел под сводами храма:

— Братья и сестры! В эти дни решается судьба не просто Сербии, но всего православного мира! Снова, как на Косовом поле, сошлись в битве силы Христа и антихриста. Враг коварен! Он рядится в овечьи шкуры, говорит о «правах человека», о «мультикультурализме», но в сердце своем несет ненависть ко Кресту Господню! Они называют себя «босняками», но это ложь! Это потомки тех, кто предал веру отцов за турецкую чалму и сытный плов! Это духовные выродки, секта, культ, который оскверняет нашу святую землю одним своим присутствием!

Он сделал паузу, обводя паству горящим взглядом.

— И я спрашиваю вас: что должен сделать добрый хозяин, когда в его винограднике завелся сорняк, что высасывает соки из лозы? Он должен вырвать его с корнем и бросить в огонь! Что должен сделать пастырь, когда в его стадо пробрался волк? Он должен убить его, чтобы спасти овец! Так и мы! Наши сыновья и братья, что сейчас проливают кровь на берегах Дрины, — они не убийцы! Они — воины света! Они — хирурги, что вырезают раковую опухоль с тела нашей Родины! Каждый

выстрел по врагу — это молитва! Каждая сожженная мечеть, этот рассадник ереси, — это свеча, поставленная за здоровье сербского народа! Не бойтесь крови, ибо это кровь очищения! Не бойтесь показаться жестокими в глазах безбожного мира, ибо Господь судит не по делам, а по помыслам! А помысел наших воинов свят — защита Веры и Отечества! Аминь!

«Аминь!» — выдохнула толпа. Это был не шепот, а стон, в котором смешались страх, экстаз и решимость. Старушки плакали. Мужчины сжимали кулаки. Молодой парень, стоявший впереди, перекрестился широким, размашистым крестом и посмотрел на икону Георгия Победоносца, пронзающего змея. В этот момент он видел на месте змея не абстрактное зло, а вполне конкретного врага — соседа-мусульманина, с которым еще вчера играл в футбол.

Отец Гаврило сошел с амвона, опустошенный и одновременно наполненный силой. Он выполнил свой долг. Он дал людям то, чего они жаждали: божественную санкцию на ненависть. Он превратил политический конфликт в священную войну, а будущих убийц — в крестоносцев.

В типовой квартире в Новом Белграде семья Петрович смотрела вечерний «Дневник». Телевизор, старый «Рубин», был центром их вселенной, алтарем, на который каждый вечер приносились жертвы — здравый смысл и человечность.

Драгомир, глава семьи, бывший рабочий с закрывшегося завода, сидел в кресле, вперив взгляд в экран. Каждое слово диктора было для него непреложной истиной. Он видел сюжет, смонтированный Марко. Видел сербского солдата с флягой, видел руины мечети, слышал голос Патриарха.

— Вот! Вот наши орлы! — воскликнул он, ударив кулаком по подлокотнику. — Показывают этим туркам, где раки зимуют! А то расплодились, понимаешь, ваххабиты! Жenuшка моя, Елена, ты посмотри, как наш солдатик старуху поит! А они говорят — звери! Да наши ребята — святые!

Елена, его жена, которая сидела за столом и чистила картошку, вздохнула. — Драгомир, это же война... Там все звереют. И наши, и их. У них ведь тоже матери, жены. Разве ты не помнишь семью Османович, что жила под нами? Разве они были плохими людьми? Уехали в Сараево, и теперь кто знает, что с ними...

— Молчи, женщина! — оборвал ее Драгомир. — Что ты понимаешь! Османовичи! Они всегда были себе на уме. В мечеть свою тайно ходили! Это пятая колонна! Правильно их всех оттуда гонят! Это сербская земля!

Их восемнадцатилетний сын, Милан, слушал этот спор с плохо скрываемым презрением к материнской «слабости». Он был безработным, как и многие его сверстники. Улицы, дешевое пиво, чувство безысходности. А телевизор предлагал ему выход. Простой, ясный, героический. Он предлагал ему стать кем-то.

— Мама, ты не права, — сказал он, вставая. Его глаза горели тем же огнем, что и у отца Гаврило на проповеди. — Отец прав. Это не война с людьми. Это война за веру. За нашу историю. Я говорил сегодня с парнями... Они записываются в добровольцы. В отряд «Тигры Аркана». Говорят, там настоящий командир, Аркан. Он не просто вояка, он идеолог. Он очищает землю от этой заразы. Я тоже пойду.

Елена выронила нож. Картофелина глухо стукнулась об пол. — Милан! Сынок! Ты с ума сошел? Какая война? Тебя же убьют! Это не твое дело! — Мое, мама! — отрезал он. — Я не хочу сидеть здесь и киснуть, пока лучшие люди сражаются за Великую Сербию! Лучше умереть героем там, чем спиться от безнадеги здесь!

Он ушел в свою комнату и громко хлопнул дверью. Драгомир, на мгновение смутившись, снова повернулся к телевизору, где уже показывали спортивную сводку. — Правильный парень растет, — пробормотал он больше для себя, чем для жены. — Настоящий серб.

Елена осталась одна на кухне. Она подняла с пола картофелину, и по ее лицу покатились слезы. Она смотрела на мужа, зомбированного телевизором, и думала о сыне, который собрался идти убивать и

умирать за лозунги, придуманные циниками в дорогах кабинетах. Ее семья, ее маленький мир, трещал по швам, расколотый той же самой ненавистью, что сжигала деревни в Боснии. Война пришла в ее дом не с бомбами и солдатами. Она просочилась через экран телевизора и церковный порог, отравив души самых близких ей людей.

За сотни километров от Белграда, в затхлом номере дешевого отеля в венгерском городе Сегед, Стефан Костич смотрел тот же выпуск «Дневника» через спутниковую антенну, которую он купил на последние деньги. Каждое слово диктора, каждый кадр, смонтированный Марко, отзывался в нем приступом тошноты. Он видел изнанку этой картинки. Он знал, что за кадром с солдатом и флягой остались расстрелянные мужчины, изнасилованные женщины и убитая выстрелом в затылок маленькая девочка.

Он видел перед собой не выпуск новостей. Он видел идеально отлаженный механизм.

1. Уровень первый: Стратегический. Вукашин, Милошевич, Патриарх, Амфилохий. Они сидят в своих кабинетах и резиденциях. Они заключают сделки, произносят речи, пишут директивы. Они — архитекторы ненависти. Они создают чертежи.
2. Уровень второй: Идеологический. Отец Гаврило и тысячи таких, как он. Журналисты вроде Уроша. Профессора университетов, пишущие «научные» статьи о «геноциде над сербами». Они — прорабы. Они берут чертежи и адаптируют их для масс, превращая сложную политическую доктрину в простые, эмоционально заряженные символы: «небесная Сербия», «культ», «священная война».
3. Уровень третий: Тактический. Марко и его коллеги на телевидении. Редакторы газет. Они — рабочие на конвейере. Они штампуют пропагандистский продукт — новости, статьи, репортажи, которые ежедневно и ежечасно вливаются в вены нации. Они создают информационный кокон, в котором ложь становится неотличимой от правды.

4. Уровень четвертый: Исполнительный. Аркан и его «Тигры». Милан, сын Драгомира, который завтра запишется в добровольцы. Они — конечный продукт всей этой машины. Солдаты, которые убивают, искренне веря, что совершают подвиг. Они — тот самый меч, о котором говорил Христос, но вложенный в их руки не Богом, а пропагандой.

И, наконец, потребители. Драгомир, миллионы таких, как он, которые с готовностью поглощают этот яд, потому что он льстит их гордыне, оправдывает их страхи и дает простые ответы на сложные вопросы.

Стефан встал и подошел к окну. Он смотрел на мирные улицы европейского города и чувствовал себя выжившим после кораблекрушения, которого выбросило на необитаемый остров. У него была папка «Архитекторы Зла». У него были воспоминания о ледяных глазах Аркана и о мертвой девочке на площади. У него была правда. Но что она стоила в мире, где фабрики лжи работали в три смены?

Он вернулся к столу. Открыл свой блокнот, залитый боснийской грязью, и начал писать. Он описывал все: цинизм Марко (хотя он не знал его имени, он точно представлял себе такого человека), пламенную веру Гаврило, слепую убежденность Драгомира и трагедию Елены. Он описывал всю цепочку, от благословения в Патриархии до выстрела в затылок в боснийской деревне.

Он понял, что Аркан был прав в одном. Это была война не с плотью, а с духом. С идеей. И победить в ней можно было только одним способом — противопоставив этой дьявольской идее другую. Идею правды.

Его пальцы дрожали, когда он достал из кармана записную книжку с номером того иностранного журналиста, который предупреждал его не ехать в Боснию. Дэвид. Он работал в крупном издании.

Стефан нашел в коридоре отеля телефон-автомат. Он долго стоял перед ним, собираясь с духом. Этот звонок был прыжком в пропасть. Если его вычислят, его убьют. Не так, как в боснийском подвале —

медленно и мучительно. А быстро, как предателя. Но молчать он больше не мог. Молчание делало его соучастником. Таким же, как редактор Марко.

Он набрал номер. После долгих гудков на том конце ответил сонный голос: — Хэллоу? — Дэвид? — хрипло спросил Стефан. — Да. Кто это? — Это Стефан. Костич. В трубке на мгновение воцарилась тишина. — Стефан! Черт возьми, я думал, ты мертв! Где ты? — Это неважно. Слушай меня внимательно. Я видел все. «Антикульт». «Санацию». Я был в логове Аркана. Это хуже, чем ты можешь себе представить. Но дело не только в них. У меня есть доказательства. Документы. Имена. Вся цепочка. От самых верхов Церкви и государства до этих головорезов.

— Господи... Стефан, это бомба.

— Я знаю. Поэтому я звоню тебе. Я не могу это опубликовать сам. Меня убьют прежде, чем я напишу первую строчку. Но мир должен знать. Не о «зверствах сербов». А о технологии. О том, как это делается. Как целую нацию превращают в соучастников геноцида.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Встреться со мной. Я передам тебе все, что у меня есть. Мою папку. Мои записи. А ты... ты напиши об этом. Напиши не просто статью. Напиши книгу. Назови ее... назови ее «Архитекторы Зла».

Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Вернувшись в номер, он сел за стол и положил руки на папку. Война в умах продолжалась. Но сегодня, в этом тихом венгерском городке, маленькая, осажденная армия правды готовилась к своей первой контратаке. И Стефан Костич был ее единственным солдатом.

Глава 6. Сребреница: Неуслышанное пророчество

Июль 1995 года. Лето в Боснии было беспощадным, удушающим. Воздух над долиной Дрины дрожал от зноя, густой, как сироп, смешанный с пылью и отдаленным, почти подсознательным запахом гари. Для десятков тысяч людей, запертых в анклав Сребреница, этот зной был еще одним кругом ада. ООН объявила их «зоной безопасности», но эти слова, напечатанные на официальных бланках в Женеве и Нью-Йорке, давно превратились в жестокую насмешку. Безопасность была тонкой синей линией голландских миротворцев, которые скорее напоминали растерянных туристов, чем защитников. А за этой линией, на всех окрестных холмах, в лесах, в каждом овраге, затаилась Армия Республики Сербской. Она сжимала кольцо медленно, методично, как удав, переваривающий свою жертву.

Насер Бегич, бывший учитель истории в сребреницкой гимназии, смотрел на своего пятнадцатилетнего сына Эмира, который пытался починить старый транзистор. Худое, вытянутое лицо мальчика было сосредоточенным, пальцы, покрытые царапинами, неумело крутили провода. От него пахло голодом и пылью. Насеру хотелось сказать ему что-то ободряющее, что-то из тех времен, когда слова еще имели вес. Рассказать о короле Твртко, о боснийской государственности, о том, что их земля видела и не таких завоевателей. Но слова застревали в горле. История умерла. Осталась только биология: выживание.

— Пап, думаешь, они действительно нападут? — спросил Эмир, не отрываясь от транзистора. — Голландцы ведь здесь. Они не позволят. — Они не позволят, сынок, — механически повторил Насер, а его жена Фатима, сидевшая в углу комнаты и перебиравшая скудные запасы муки, вздрогнула. Ложь, произнесенная из любви, была самой горькой. Все трое знали, что голландцы ничего не сделают. Они видели страх в глазах этих молодых белокурых парней, которые делились с детьми шоколадками, но отводили взгляд, когда мужчины спрашивали их о подкреплении, об авиаударах НАТО, о спасении.

В это самое время на одной из высот, доминирующих над городом, в траншее, пропахшей потом, землей и оружейной смазкой, лежал Милан Петрович. Восемнадцатилетний мальчишка из Нового Белграда, мечтавший умереть героем, исчез. На его месте был двадцатипятилетний младший сержант отряда «Тигры Аркана», ветеран десятков «санаций» и «зачисток». Его лицо обветрилось и огрубело, взгляд стал тяжелым, непроницаемым. Он смотрел в бинокль на город, который казался ему игрушечным в зеленой чаше долины. Он не видел там домов, школ, людей. Он видел цель. Последний оплот «турок», «осиное гнездо», которое нужно было выжечь, чтобы земля наконец стала чистой. Святой сербской землей.

Слова отца Гаврило, которые он слышал три года назад, теперь не просто жили в его памяти — они стали его плотью и кровью. «Что должен сделать добрый хозяин, когда в его винограднике завелся сорняк? Он должен вырвать его с корнем и бросить в огонь!» Милан был этим хозяином. Он был хирургом, как говорил командир Аркан. Его автомат был скальпелем.

— Гляди, Милане, шевелятся, — прохрипел рядом Боро, коренастый боец с татуировкой в виде черепа на предплечье. — Как крысы в банке. Скоро начнем крысолова включать. Милан молча кивнул. Он перевел бинокль на окраину города, где виднелся комплекс бывшей аккумуляторной фабрики в Поточари — база голландского батальона. Там уже начиналось движение. Толпы людей, как ручейки, стекались к воротам в призрачной надежде на спасение. Милан презрительно усмехнулся. Спасение. Они ищут спасения у тех, кто сам ждет не дождется, чтобы убраться отсюда. Он чувствовал не жалость, а какое-то злорадное, пьянящее превосходство. Это был исторический момент, и он, Милан Петрович, безработный из белградского спального района, был в его эпицентре.

Внутри базы в Поточари капрал Ларс ван дер Меер чувствовал, как по его спине течет струйка пота, оставляя на пыльной форме мокрую дорожку. Жара стояла невыносимая, но еще невыносимее был гул тысяч отчаявшихся голосов за оградой. Он стоял в оцеплении у ворот,

сжимая свой автомат, который казался ему бесполезной пластиковой игрушкой. Его командир, майор Кареманс, только что вернулся со встречи с сербским генералом Младичем. Лицо у майора было белым, как полотно. — Приказ — никого не впускать, — бросил он Ларсу и его товарищам. — Мы не можем их всех разместить. И не вступать в конфронтацию. Повторяю: не провоцировать сербов. — Но, сэр, они же их убьют, — вырвалось у Ларса. Майор посмотрел на него взглядом человека, которому уже все равно. — Наш мандат — наблюдение, капрал. Просто наблюдай.

И Ларс наблюдал. Он наблюдал, как сербская артиллерия начала методично, дом за домом, квартал за кварталом, утюжить Сребреницу. Это не была перестрелка. Это было хладнокровное, показательное уничтожение. Он наблюдал, как рухнула надежда в глазах людей за оградой, и на ее место пришел первобытный ужас. Толпа напирала, дети плакали, женщины кричали. И тогда ворота не выдержали. Десятки тысяч людей хлынули на территорию базы, превращая ее в кишаций, стонущий человеческий муравейник. Фатима Бегич вцепилась в руки Насера и Эмира, и их, как щепки в потоке, втянуло внутрь. На мгновение, оказавшись за воротами, под сенью флага ООН, она почувствовала облегчение. Они были спасены. Насер посмотрел в глаза молодому голландцу, стоявшему рядом. Это был Ларс. И в этих голубых, испуганных глазах Насер не увидел ничего, кроме собственного бессилия. Пророчество, которое он носил в своем сердце, начало сбываться.

Когда снаряды перестали рваться, в город вошли сербские войска. Милан и его отряд были в авангарде. Они шли по пустым улицам, и эхо их шагов казалось оглушительным. В брошенных домах на столах стыла еда. В колыбелях еще оставалось тепло детских тел. Эта тишина была страшнее любого боя. Она была пропитана страхом, который гнал отсюда людей. Боро, шедший рядом с Миланом, пнул ногой детскую игрушку — плюшевого мишку. — Смотри, даже их медведи — мусульмане, — заржал он. Милан не улыбнулся. Что-то в этой мертвой тишине тревожило его. Он ожидал сопротивления, боя, славы. А получил пустоту. Он зашел в один из домов. На стене висели семейные

фотографии: улыбающаяся пара, дети, старики. Обычные люди. Такие же, как его соседи в Белграде. На мгновение идеологическая конструкция в его голове пошатнулась. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Это маска, — сказал он себе, повторяя слова Аркана. — Они только притворяются людьми. Под этой личиной — ненависть, джихад, угроза». Он вышел из дома, и его лицо снова стало каменным.

На следующий день в Поточари приехал сам генерал Младич. Он шел сквозь толпу беженцев в сопровождении телекамер и свиты офицеров. Ларс ван дер Меер видел его совсем близко. Уверенный, властный, хозяин положения. Он раздавал детям шоколадки, трепал их по головам, а его глаза оставались холодными, как лед. Он говорил с женщинами, обещая им безопасную эвакуацию. «Никто вас не тронет, — говорил его зычный голос. — Ваши мужья, сыновья и братья будут проверены на причастность к военным преступлениям и затем присоединены к вам». Камера белградского телевидения ловила каждый его жест. Марко в своей аппаратной в Белграде позже получит этот материал и сделает из него сюжет о гуманизме сербского генерала. А потом Младич повернулся к голландскому командиру и, глядя на флаг ООН, произнес в камеру слова, от которых у Ларса по спине пробежал холод: «Одиннадцатого июля 1995 года мы находимся в сербской Сребренице. В канун еще одного великого сербского праздника мы дарим этот город сербскому народу. Пришло время отомстить туркам на этой земле».

Мечь. Вот оно, ключевое слово. Не освобождение. Не защита. Мечь. И она началась сразу же. Как только камеры выключились. Прибыли автобусы. Десятки зеленых автобусов. Началась «эвакуация». И сразу же — сепарация. — Женщины и дети — в автобусы! Мужчины — в сторону! Милан и его отряд получили приказ оцепить толпу и производить разделение. Работа была грязной, нервной. Женщины цеплялись за своих мужей и сыновей, кричали, умоляли. Солдаты отрывали их, грубо, безжалостно. Милан стоял в оцеплении, стараясь не смотреть в лица. Он был винтиком в огромном, бездушном механизме. Он просто выполнял приказ. Но вот перед ним оказалась женщина, вцепившаяся в подростка. Фатима. Ее лицо было искажено

ужасом, она что-то кричала, но Милан не слышал слов. Он видел только ее глаза и глаза ее сына, Эмира. В них был не страх. В них был вопрос. «Почему?» Напарник Милана, Боро, грубо схватил Эмира за плечо. — Пусти его, турчанка! Ему на проверку! Фатима не отпускала. И тогда Милан шагнул вперед. Он не ударил ее. Он просто взял ее руки и с силой разжал пальцы, которыми она держала сына. Он сделал это молча, методично, как слесарь, разбирающий механизм. На секунду их взгляды встретились. Взгляд матери, у которой отнимают ребенка, и взгляд парня, который три года назад сам был таким же ребенком. В этот момент внутри Милана что-то оборвалось. Вся идеологическая броня, все проповеди, все лозунги о священной войне рассыпались в прах. Он увидел не «турка», не «врага», а просто мальчика, которого он обрекал на смерть. Он увидел не «потурицу», а просто мать. Он оттолкнул Эмира в сторону, к толпе мужчин, которых сгоняли в недостроенное здание рядом. Он не обернулся. Он слышал за спиной вой Фатимы, который сливался с тысячами других таких же воплей. Он стоял, сжимая автомат, и чувствовал, как по щекам течет что-то горячее. Он думал, что это пот. Но это были слезы. Первые за три года.

Что я делаю? Боже, что я делаю? Это не воины. Это старики и мальчишки. Это учитель, который учил меня в школе. Это сын... это просто сын. Как я. Отец Гаврило, ты лгал. Аркан, ты лгал. Телевизор лгал. Это не санация. Это не хирургия. Это бойня. И я — мясник. Я разжал ее пальцы... я видел ее глаза. Она прокляла меня. Она не кричала, она прокляла меня взглядом. Я буду видеть эти глаза до конца своей жизни. Господи, если ты есть, почему ты это позволяешь? Или... или это и есть твоя воля? Очистить землю? Нет. Бог не может быть таким. Это мы. Это мы сами превратились в дьяволов. Я хотел быть героем. А стал убийцей. И теперь уже поздно. Пути назад нет. Я должен идти до конца. Я должен стать камнем. Иначе я сойду с ума.

Ночью мужчин из Поточари начали вывозить. Не на «проверку». Их вывозили в пустые школы, склады, на поля. В Кравицу, в Петковци, в Братунац. Места, чьи названия скоро станут синонимами ада. Милана и часть его отряда отправили к большому складу в деревне Кравица. Туда набили больше тысячи человек. Они стояли так плотно, что не могли

пошевелиться. Они кричали, требовали воды, воздуха. А потом кто-то из них попытался выломать дверь. Это стало сигналом. Командир отряда, офицер с мертвыми глазами, отдал приказ: — Огонь по складу. Из всего, что есть. И началось. Они стреляли сквозь стены, бросали в окна гранаты. Милан стоял в цепи. Он получил приказ стрелять. Он поднял автомат. Его руки дрожали. Он видел перед собой не склад. Он видел лицо Эмира. Он видел глаза его матери. Он зажмурился и нажал на курок. Длинная очередь ушла в стену. Потом еще одна. И еще. Он стрелял, пока магазин не опустел. Он стрелял в стену, в крики, в собственную душу, пытаясь убить в себе последнего человека. Когда крики внутри затихли, наступила тишина. Та же самая страшная тишина, что была в пустом городе. Только теперь она пахла кровью.

В белградской аппаратной Марко сидел перед монтажным пультом. Перед ним лежали кассеты. Официальные, от военных корреспондентов: Младич с шоколадками, улыбающиеся солдаты, женщины, которые садились в автобусы. И одна кассета без опознавательных знаков, которую ему сунул в руки знакомый оператор, шепнув: «Только для тебя. Не говори, что видел». Марко вставил ее в плеер. Камера дрожала. Съемка велась тайно, откуда-то из-за угла. Грузовики. Экскаваторы. Огромный ров. И тела. Сотни, тысячи тел, которые сваливали в этот ров, как мусор. Марко смотрел, и воздух кончался в его легких. Он видел это. Он знал, что это правда. Пророчество, о котором шептались в кулуарах, которое он сам помогал маскировать, сбылось.

Вошел Урош, его начальник. Мягкий, сытый, довольный. — Ну что, Марко, готов сюжет? Генерал — просто телезвезда! Гуманист, отец родной! Сделай красиво. Чтобы вся Сербия гордилась нашей армией.

Марко медленно повернулся к нему. Его лицо было серым. — Урош... там... там убили всех. Урош нахмурился. Его добродушие мгновенно испарилось. — Ты что несешь? Какая-то вражеская пропаганда? У тебя есть приказ. Либерация Сребреницы. Спасение гражданского населения. Зачистка террористов. Точка.

— Но я видел...

— Ты ничего не видел! — рявкнул Урош, и его влажные ладони сжались в кулаки. — Ты видел то, что тебе показали по официальным каналам. Все остальное — ложь и провокация. Ты понял меня, Марко? Или ты хочешь, чтобы твоя дочка осталась без отца, который вдруг решил поиграть в правдолюбца? Делай свою работу.

Марко опустил голову. Он вытащил кассету с телами. Положил ее в карман. И начал монтировать сюжет о великой победе и гуманизме. Но когда он накладывал бравурную музыку на кадры, где Младич гладит по голове плачущего ребенка, он чувствовал, как его тошнит. Сегодня он не просто смонтировал ложь. Он похоронил правду. Он стал могильщиком.

В воскресенье отец Гаврило вышел на амвон. Его лицо сияло. Церковь была полна. Люди пришли услышать слова о великой победе.

— Братья и сестры! — его голос гремел. — Свершилось! Господь явил нам свою милость! Древний город Сребреница, оплот сербского духа, оскверненный веками агарянского присутствия, очищен! Он возвращен в лоно Святой Матери-Церкви! Наши храбрые воины, наши новые Обиличи и Лазари, совершили великий подвиг! Они не просто выиграли битву. Они исполнили историческую справедливость! Они вырвали с корнем ядовитый сорняк, который отравлял нашу землю! Возблагодарим Господа за эту победу! Вознесем молитвы за наших героев-воинов, которые не дрогнувшей рукой исполнили Его святую волю!

«Аминь!» — выдохнула толпа. Лица сияли. Старушки плакали от счастья. Мужчины гордо выпрямляли спины. Ненависть, благословленная с амвона и оправданная с телеэкрана, получила свое высшее удовлетворение. Цикл завершился.

За тысячи километров от Белграда, в тихой венской квартире, которую снял для него Дэвид, Стефан Костич смотрел репортаж CNN. Кадры со спутника. Перемешанная земля. Показания выживших женщин. Лицо Дэвида было пепельным. Он положил руку на плечо Стефану. — Они сделали это, Стефан. Все, о чем ты писал. «Санация». «Окончательное решение». Они сделали это. Стефан смотрел в экран

невидящими глазами. Он не чувствовал ни удовлетворения от своей правоты, ни злости. Только бездонную, ледяную пустоту. Он думал о мертвой девочке на площади в Зворнике. Она была первой. Пророчеством, которого никто не услышал. А теперь их были тысячи. Он встал, подошел к столу, на котором лежала его папка «Архитекторы Зла». Он открыл ее. Документы, имена, схемы. Чертежи машины смерти.

— Ты был прав, Дэвид, — тихо сказал он. — Раньше они не слушали. Они думали, что это преувеличение. Пропаганда. Но теперь... — он поднял глаза на журналиста, и в них горел холодный огонь. — Теперь у них есть доказательство. Оно написано кровью восьми тысяч человек. Теперь мир должен услышать. Не просто услышать. Он должен содрогнуться. Он взял чистый лист бумаги и написал заголовок: «J'accuse». Я обвиняю. Война в умах проиграла. Начиналась война за память.

Глава 7. Тлеющие угли: Охота на «внутреннего врага»

Осень 1995 года пришла в Белград не с золотом и багрянцем, а с серой, промозглой изморосью. Война, та, что грохотала на первых полосах газет и в вечерних новостях, официально закончилась. Дейтонские соглашения, подписанные под вспышками фотокамер в далеком Огайо, обещали мир. Но мир не спешил спускаться на улицы сербской столицы. Он застрял где-то в небе, в тех же свинцовых тучах, что целыми днями поливали город мелким, нудным дождем.

Победа, о которой кричали с телеэкранов, имела странный привкус. В ней не было ликования, только глухое, упрямое удовлетворение, смешанное с усталостью. Кафе на улице Князя Михаила были полны, как и прежде. Играла музыка, пахло крепким кофе и дешевыми сигаретами, красивые девушки смеялись чуть громче,

чем нужно. Но под этим тонким слоем показной беззаботности скрывалась тревога. Война не ушла. Она просто сменила поле боя. Из боснийских лесов и хорватских полей она перекочевала внутрь – в дома, в души, в подозрительные взгляды, которыми соседи обменивались на лестничной клетке. Враг перестал быть внешним. Теперь его искали внутри.

Милан Петрович вернулся домой героем. Так сказала ему мать, заливаясь слезами и ощупывая его исхудавшее, угловатое тело, словно не веря, что он живой. Так сказал отец, наливая полную рюмку домашней сливовицы и поднимая тост «за победителя». На столе стояла сарма, которую мать готовила только по большим праздникам. Соседи заходили, похлопывали по плечу, называли «наш сокол». Он сидел за столом в своей старой комнате, где со стены на него смотрели постеры рок-групп из другой, довоенной жизни. Он ел сарму, пил сливовицу и молчал.

Он пытался быть тем Миланом, которого они ждали. Улыбался, кивал, отвечал односложно на вопросы о «боевом духе» и «трусости врага». Но внутри него была выжженная земля. Тишина. Та самая тишина, что наступила на складе в Кравице после того, как замолчали крики и он, оглохший от собственного автомата, стоял, глядя на пробитые пулями стены.

Ночью тишина уходила. Ей на смену приходили звуки. Неясный шепот, переходящий в крик. Плач. А потом он видел глаза. Глаза Фатимы Бегич, в которых не было ненависти, только вселенское, немое «почему?». Он видел, как его собственные руки, чужие, жестокие, разжимают ее пальцы на плече сына. Он просыпался в холодном поту, вцепившись в одеяло. Его мать думала, что это «военный синдром», что «время лечит». Она не знала, что его болезнь неизлечима, потому что он сам был этой болезнью.

Днем он бродил по городу, как призрак. Мимо знакомых мест, которые теперь казались декорациями к чужому спектаклю. Он заходил в бары, где сидели такие же, как он, демобилизованные «герои». Они пили, горланили патриотические песни и вспоминали войну. Но они

вспоминали какую-то другую войну. Веселую, как сафари. Войну, где были «подвиги», «трофеи» и смешные, глупые «турки», которые бежали, сверкая пятками.

— А помнишь, в Бихаче, как мы их из «Осы» накрыли? Летели, как кегли! — хохотал Ратко, бывший слесарь, потерявший на войне два пальца и всякое представление о человечности. — А Сребреница! Вот это была санация! Командир сказал – надо вычистить, мы и вычистили! До блеска! — подхватывал другой, с татуировкой «За веру и отечество» на шее.

Милан пил, стакан за стаканом. Он хотел напиться так, чтобы утопить в алкоголе образы, голоса, запахи. Но алкоголь был предателем. Он делал воспоминания только ярче.

— А ты чего молчишь, герой? — Ратко ткнул его в бок. — Ты же с «Тиграми» был. Вы там самую грязную работу сделали. Ну, расскажи, как бабы их выли, когда мы пацанву их забирали? А? Это же музыка была!

Милан медленно поднял на него мутный взгляд. В его голове что-то щелкнуло. Тонкая пленка самоконтроля, которую он с таким трудом натягивал на себя каждое утро, лопнула.

— Музыка? — тихо переспросил он. Голос был чужим, хриплым. — Ты слышал там музыку? Я слышал, как мальчишка, такой же, как я был три года назад, звал маму. Он не кричал. Он просто шептал: «мама». А потом его застрелили. И еще тысячу таких же. Это была не санация. Это была бойня. И мы были не солдатами. Мы были мясниками.

В баре повисла тишина. Музыка из динамиков вдруг показалась неуместной и фальшивой. Все смотрели на Милана. Ратко перестал улыбаться. Его взгляд стал жестким, оценивающим.

— Ты чего это, Милане? Перепил? Или контузило тебя там? Какие мальчишки? Мы террористов уничтожали. Все по приказу. Ты что, забыл слова командира? Или тебе западная пропаганда мозги промыла?

— Я помню не слова. Я помню глаза, — сказал Милан, вставая. Ноги его не держали. — Глаза его матери.

Он вышел из бара, шатаясь. Он не видел, как Ратко проводил его долгим, задумчивым взглядом. В этом взгляде не было товарищества. Было подозрение. Первое семя было брошено в благодатную почву паранойи. «Внутренний враг» начал обретать черты. Человек, который помнит то, что всем приказано забыть.

Марко тоже пытался забыть. Он получил новую должность – заместитель начальника технического отдела. Зарплату повысили. Урош похлопывал его по плечу и называл «наш надежный кадр». Но эта надежность была цепью, которая приковала его к страху.

Кассета. Та самая, без опознавательных знаков. Она лежала у него дома, спрятанная в коробке со старыми детскими диафильмами. «Красная шапочка», «Три поросенка». Среди этих сказок притаилась другая, страшная сказка про экскаваторы и рвы, полные тел. Иногда по ночам, когда жена и дочка уже спали, он доставал ее. Он не смотрел. Он просто держал в руках этот маленький прямоугольник из черной пластмассы, который весил, казалось, тонну. В нем была сконцентрирована правда, способная взорвать этот хрупкий, лживый мир. И его собственный мир заодно.

Каждый день на работе был хождением по минному полю. Атмосфера в телецентре изменилась. Исчезли громкие шутки в курилках, откровенные разговоры. Люди говорили полунамеками, постоянно оглядываясь. Несколько человек были уволены «по собственному желанию». Один монтажер, который любил слушать «Радио Свободная Европа», просто однажды не вышел на работу. Его жена говорила, что он уехал к родственникам в деревню. Но все понимали, что это за деревня и кто эти родственники.

Урош стал вызывать Марко к себе почти каждый день. Не с приказами. Просто «поболтать».

— Ну как дела, Марко? Как семья, как дочка? В садик ходит? Молодец. Сейчас главное – стабильность. Семья, работа. Держаться за свое. А то ведь знаешь, время беспокойное, — Урош задумчиво

размешивал сахар в крошечной чашке кофе. — Много всякой грязи развелось. Предателей. Людей, которые готовы за западные гранты родную мать продать. Они думают, мы не видим. А мы все видим. У государства длинные руки и хорошая память.

Он поднимал на Марко свои влажные, бесцветные глаза, и в них не было ни тени добродушия. Только холодный расчет. Это были не разговоры. Это были сеансы гипноза. Ему напоминали, что он в клетке. Золотой, но клетке. Что у него есть дочь. И что кассета в коробке с диафильмами – это не билет на свободу, а смертный приговор.

Однажды вечером Марко не выдержал. Дочка попросила посмотреть диафильм. Он достал коробку. Руки дрожали. Он вытащил пленку с «Тремя поросятами». И вдруг ему представилось, что он вставляет в проектор другую пленку. Что на стене, вместо домиков из соломы и камня, появляются силуэты людей на фоне рва. И его маленькая Ана спрашивает: «Папа, а что эти дяди делают?»

Его затошнило. Он бросился в ванную, включил воду и долго стоял, упершись руками в раковину, глядя на свое серое лицо в зеркале. Covard. Трус. Он повторял это слово беззвучно, как молитву. Он был соучастником. Каждый смонтированный им сюжет о «гуманизме генерала Младича», каждая вырезанная им секунда правды делала его таким же убийцей, как те, кто нажимал на курок. Они убивали тела. Он убивал правду. И память.

Он вернулся в комнату. Жена уже спала. Дочка обнимала плюшевого мишку. Он подошел к окну. Внизу, под дождем, стояла темная «Застава».

**Примечание: Zastava (Застава) — это известная югославская, а затем сербская марка автомобилей.*

В ней сидели двое. Просто сидели и курили. Может, ждали кого-то. Может, просто прятались от дождя. Но Марко знал – они ждут его. Рано или поздно. Они придут за каждым, кто хранит в себе осколок правды. Он закрыл шторы. Город за окном превратился во врага.

В Вене тоже шел дождь. Но это был другой дождь. Чистый, венский дождь, смывавший пыль с имперских фасадов. Стефан Костич смотрел

на него из окна квартиры, ставшей его штабом и убежищем. Мир, который он пытался предупредить, теперь был готов его слушать. Скрипя зубами, с неохотой, но готов. Спутниковые снимки, показания беженцев, нестыковки в официальных сербских отчетах – все это создавало картину, которую уже нельзя было игнорировать. Сребреница стала словом, которое невозможно было произнести шепотом.

Его статья «J'accuse», опубликованная в Le Monde и The Guardian, наделала много шума. Его телефон разрывался. Журналисты, правозащитники, следователи из Гаагского трибунала. Он давал интервью, выступал на конференциях, передавал Дэвиду свои архивы – имена, даты, связи, приказы. Он стал голосом тех, кого заставили замолчать навсегда.

Но чем больше он говорил, тем острее чувствовал свое бессилие. Он мог обвинять. Он мог предоставлять доказательства. Но он не мог вернуть мертвых. И он не мог пробить стену цинизма и политической expediency «целесообразности».

— Они говорят о мире, Стефан, — сказал ему Дэвид после встречи в офисе ООН. — Они подписали Дейтон. Милошевич теперь для них гарант мира. Они не хотят раскачивать лодку. Они готовы судить исполнителей, каких-нибудь капралов, но не тех, кто отдавал приказы. Не архитекторов.

— Значит, это не мир, Дэвид. Это сделка, — устало ответил Стефан. Он сидел, заваленный бумагами, худой, с темными кругами под глазами. — Это амнистия для убийц в обмен на иллюзию стабильности. Если мы позволим им это сделать, значит, все было зря. Значит, через десять, двадцать лет все повторится. Потому что зло, которое не названо злом и не наказано, всегда возвращается.

Он чувствовал себя бегуном на длинной дистанции, у которого перехватило дыхание, но финишная черта все время отодвигается. Он боролся не только с режимом в Белграде. Он боролся с усталостью мира, с его желанием поскорее перевернуть страшную страницу.

Однажды поздно вечером на его зашифрованную электронную почту пришло короткое письмо. Без подписи. Отправитель был анонимным. В письме было всего несколько слов: «Они чистят свои ряды. Ищут тех, кто знает. Правда спрятана внутри. Ищите могильщика».

Стефан перечитал сообщение несколько раз. Могильщик. Это было не про тех, кто хоронил тела. Это было про тех, кто хоронил правду. Кто-то изнутри, из самой системы, подавал ему сигнал. Рискую всем. Это означало две вещи. Первая: страх внутри машины достиг предела. И вторая: где-то там, в Белграде, есть человек, у которого есть доказательства. Настоящие, неопровержимые. Не просто слова, а образы. Этот человек был одновременно и самой большой надеждой, и самой главной мишенью в начавшейся охоте.

Ночь для Милана Петровича превратилась в нескончаемый сеанс пыток. Он перестал спать. Он сидел на кухне, курил одну сигарету за другой и смотрел в темноту. Иногда ему казалось, что он слышит, как за стеной плачет ребенок. Но в их подъезде не было маленьких детей.

Его разговор в баре не прошел даром. С ним перестали здороваться некоторые из бывших «боевых товарищей». Когда он заходил в свой подъезд, соседка, еще вчера называвшая его «соколом», торопливо закрывала перед ним дверь. В воздухе сгустилась невидимая паутина отчуждения и подозрения. Он стал чужим. Ненадежным элементом. Человеком с «промытыми мозгами».

Однажды вечером в дверь позвонили. На пороге стоял командир Аркан. Не в камуфляже, а в дорогом итальянском костюме, от него пахло хорошим парфюмом. Он сильно изменился. Исчезла фанатичная искра в глазах, появилась сытая уверенность хозяина жизни. За его спиной маячили две фигуры в кожаных куртках – его новая свита.

— Здравствуй, Милан. Не ждал? — Аркан прошел в квартиру, не дожидаясь приглашения. — Слышал, ты хвораешь. Нервы шалят.

— Я в порядке, — глухо ответил Милан.

— Нет, ты не в порядке, — Аркан сел на стул, положив руки на стол. Ухоженные, с дорогими часами. Это уже не были руки солдата. — Ты говоришь неправильные вещи, Милан. Расстраиваешь людей. Расстраиваешь меня. Мы прошли через ад. Мы сделали то, что должны были. Для Сербии. Для будущего. Это была грязная работа, но кто-то должен был ее сделать. Герои не сомневаются. А ты начал сомневаться. Сомнения – это как ржавчина. Они съедают изнутри.

Он помолчал, глядя Милану прямо в глаза.

— Я пришел предложить тебе помощь. И работу. Мы создаем новую службу безопасности. Ветераны. Проверенные люди. Будем наводить порядок уже здесь, в тылу. Выявлять предателей, иностранных агентов. Тех, кто льет воду на мельницу наших врагов. Нам нужны такие, как ты. Верные. Сильные. Ты с нами?

Это был не вопрос. Это был ультиматум. Присяга на верность новой, внутренней войне. Приняв ее, он снова станет своим. Ему простят его «срыв». Его возьмут обратно в стаю. Отказавшись, он окончательно подпишет себе приговор. Он станет дичью в той самой охоте, которую ему предлагают возглавить.

Милан смотрел на холеное лицо Аркана. На его сытую улыбку. Он вспомнил его речи о «хирургии», о «санации». И увидел перед собой не вождя, а торговца смертью, который удачно конвертировал кровь в статус и деньги. И отвращение, глухое, тошнотворное, пересилило страх.

— Я не хирург, — тихо сказал Милан. — И не мясник больше. Я – никто. Оставьте меня в покое.

Улыбка сползла с лица Аркана. Глаза его стали холодными, как лед на Дрине.

— Зря, Милан. Очень зря. Больных животных обычно усыпляют. Чтобы не мучились. И чтобы других не заразили. Подумай об этом.

Он встал и, не прощаясь, вышел. Две тени в кожаных куртках скользнули за ним.

Милан остался один в тишине своей кухни. Он знал, что это конец. Они не оставят его в покое. Он слишком много видел. Он был живым укором, ходячим доказательством их преступления. Он был сломанной игрушкой, которую проще выбросить, чем починить.

Он вышел из дома без цели. Просто шел под дождем, не разбирая дороги. Город давил на него своими мокрыми стенами, слепыми окнами. Каждый прохожий казался ему шпиком, каждая машина – погоней. Паранойя, до этого бывшая лишь фоном, теперь стала его реальностью. Он зашел в какой-то случайный кабаk на окраине, заказал рюмку ракии. Потом еще одну. Он пил, но опьянение не приходило. Только горечь во рту становилась сильнее.

В грязном зеркале за стойкой бара он вдруг увидел его. Мальчика. Эмира. Тот стоял за его спиной, худой, испуганный, и смотрел на него своими темными глазами. Милан резко обернулся. За спиной никого не было. Только пьяница, спавший за соседним столиком. Милан вскочил, опрокинув стул. Он выбежал на улицу. Ему казалось, что он задыхается.

— Этого не было! — закричал он в пустоту, в мокрую пелену дождя. — Вы все врете! Там не было мальчиков! Там были террористы! Террористы!

Его крик был криком безумца. Прохожие шарахались от него. Из переулкa навстречу ему медленно выехала темная «Застава». Та самая. Или другая, такая же. Двери открылись. Из нее вышли двое. Не в форме. В штатском. Сильные, безликие. Они не спеша пошли к нему.

— Милан Петрович? — спросил один из них спокойным, почти отеческим тоном. — Пройдемте с нами. Вам нужно отдохнуть. Мы о вас позаботимся.

Милан смотрел на них. Он не сопротивлялся. Он знал, что это неизбежно. Больное животное. Его пришли усыпить. Когда его вели к машине, он поднял голову и посмотрел на небо. Дождь бил по лицу, смешиваясь со слезами, которых он уже не замечал. В этот момент он почувствовал не страх, а странное, извращенное облегчение. Охота закончилась. Для него.

Машина тронулась и растворилась в ночи. В Белграде продолжался дождь. Война за память только начиналась, и она требовала своих жертв. Тех, кто знал правду. Тех, кто ее скрывал. И тех, кто отчаянно пытался ее рассказать. Тлеющие угли Сребреницы продолжали жечь души, грозя разгореться новым, еще более страшным пожаром.

Глава 8. Респектабельность зла: от идеолога войны до «эксперта»

Зима 1996 года. Снег, выпавший на Белград, был извращенно чистым. Он укрывал серую кожу города, пряча грязь, распад, неубранный мусор и незажившие раны. На несколько часов каждое утро, прежде чем жижа из машин и пешеходов превращала его в бурю кашу, город выглядел непорочным, почти невинным. Это была ложь, конечно. Красивая, кристальная ложь. И в эту новую эру мира город учился любить ложь.

В большом амфитеатре Философского факультета воздух был теплым и пах сырой шерстью и старой бумагой. Все места были заняты. Студенты сидели на ступенях, прислонялись к дорическим колоннам, вытягивали шеи из дверных проемов. Они пришли посмотреть на титана, человека, чьи книги им задавали читать, чьи идеи формировали самую интеллектуальную основу их мира. Профессор Добрица Йованович стоял за кафедрой — невысокая, почти хрупкая фигура в твидовом пиджаке с потертыми кожаными заплатками на локтях. Он выглядел как добродушный дедушка, с копной седых волос, очками-половинками на кончике носа и мягкой, почти извиняющейся улыбкой. Он не был похож на архитектора войны.

Он прокашлялся, и в зале наступила тишина. Его голос не был зычным баритоном демагога, а мягкой, размеренной интонацией ученого. Это был голос, созданный, чтобы успокаивать, объяснять, делать сложное простым, а чудовищное — рациональным.

— Мы находимся сегодня в исторической точке, — начал он, оглядывая море молодых, серьезных лиц. — В моменте размышлений после периода интенсивной и, должен сказать, болезненной трансформации. Западная пресса в своей обычной спешке с суждениями использует грубый словарь для описания событий последних пяти лет. Они говорят об агрессии, о завоевании. Они используют слова, сочащиеся моральным осуждением, без малейшей попытки понять исторические течения, глубокие тектонические силы, которые сформировали наши действия.

Он сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Снял очки и протер их носовым платком. Это был отработанный жест, передающий вдумчивость, минутное отступление в мир чистого разума.

— История — это не нравоучительная пьеса, — продолжил он, надевая очки. — Это наука. Жестокая, неумолимая наука демографии, географии, цивилизационных императивов. Чем на самом деле был югославский кризис? Это не было внезапным помешательством. Это был насильственный, давно назревший распад искусственного государства, тюрьмы народов, созданной высокомерием Версаля. Это было возвращение к естественному порядку. Народ, наш народ, который был рассеян, разбавлен и угнетен на протяжении веков, стремился наконец провести границы своего собственного дома. Дома, где он не будет меньшинством. Дома, где его культура, его вера, само его существование будут в безопасности.

Девушка в третьем ряду, Невена, яростно конспектировала. Ей было двадцать, и она обладала тем яростным идеализмом, который могут позволить себе только молодость и чистая совесть. Война была саундтреком ее подростковых лет, сбивающим с толку шумом сирен, новостных репортажей и обеспокоенного шепота родителей. Теперь она хотела понять. Слова профессора Йовановича были как ключ, открывающий дверь в упорядоченную и хорошо освещенную комнату. Он не выкрикивал лозунги. Он предлагал структуру, теорию. Это было соблазнительно.

— Конечно, — уступил профессор с оттенком печали в голосе, — такие процессы никогда не бывают бескровными. Когда движутся континенты, образуются горы и сокрушаются долины. Это геологическая реальность. Это историческая реальность. Были... эксцессы. Трагедии. Со всех сторон. Война по своей природе — тупой инструмент. Но сосредотачиваться на отдельных трагедиях, какими бы душераздирающими они ни были, — значит упускать большую правду. Это все равно что изучать один разбитый камень, игнорируя величественный собор, который строится. Мы не разрушали. Мы строили. Мы проводили необходимую операцию на теле политики Балкан, отсекая гангренозную ткань, чтобы спасти жизненно важные органы нации.

Операция. Слово было таким чистым, таким клиническим. У него была цель. Оно подразумевало исцеление. Невена записала: Необходимая операция. Она посмотрела на профессора, на его доброе, ученое лицо. Казалось, он нес бремя этой трагической необходимости с глубокой скорбью. Как мог такой человек быть тем монстром, о котором трубили зарубежные радиостанции?

— И теперь, — голос Йовановича стал тверже, — наша задача — консолидировать. Построить интеллектуальные и моральные основы нашего обновленного государства. Война на поле боя окончена. Война за нарратив, за правду о том, что произошло и почему, только началась. Они назовут нас чудовищами. Они попытаются навязать нам историю победителей, нарратив вины, который станет психологической цепью для будущих поколений. Ваша задача, как будущей интеллектуальной элиты этой нации, — сопротивляться. Вооружиться фактами, историческим контекстом, смелостью называть вещи своими именами. Не агрессия, а самооборона. Не этническая чистка, а демографическая консолидация и обмен населением. Не преступление, а трагическая, историческая необходимость.

Он завершил свою лекцию под оглушительные аплодисменты. Студенты встали. Они аплодировали не поджигателю войны; они аплодировали ученому, который дал им щит. Он взял их стыд, их

смятение, их ноющее чувство вины и превратил это в историю трагического героизма. Он заставил их гордиться.

Невена хлопала, пока ладони не запылали. Но когда она выходила из зала, одна-единственная диссонирующая мысль, маленькая и острая, как осколок стекла, застряла у нее в голове. Гангренозная ткань. Разбитый камень. Что, если у разбитого камня было имя? Что, если гангренозная ткань была мальчиком, который любил играть в футбол, или женщиной, которая пела колыбельные своему ребенку? Величественный, прекрасный собор профессора на мгновение показался построенным на фундаменте из костей. Она отогнала эту мысль. Она была неудобной. Это была та мысль, о которой их предупреждал профессор. Нарратив врага.

Два дня спустя в сверкающем Хрустальном зале отеля «Интерконтиненталь» командир Аркан подошел к другого рода трибуне. Твидовый пиджак сменился итальянским костюмом за тысячу долларов цвета полуночной синевы. Аудитория состояла не из студентов, а из журналистов, военных атташе и политиков из правящей партии. Воздух пах не старой бумагой, а дорогими духами и слабым металлическим привкусом амбиций. Аркан больше не был военачальником. Он был общественным деятелем. Филантропом. Патриотом.

Он запускал «Фонд безопасности и будущего Отечества».

За его спиной на большом экране был логотип фонда: двуглавый орел, сжимающий меч в одном когте и оливковую ветвь в другом. Это был тот тип логотипа, который разрабатывается комитетом, чтобы угодить всем: сила и мир, бдительность и примирение.

Голос Аркана, в отличие от профессорского, был низким рокотом. Это был голос, который командовал людьми в бою, голос, которому не нужен был микрофон.

— Друзья мои. Товарищи. Соотечественники-патриоты, — начал он. — Мы выиграли войну. Наши храбрые солдаты, наши сыновья и братья,

своей кровью обеспечили безопасность наших границ. Но борьба за Сербию не окончена.

Он сделал паузу, его взгляд прошелся по залу, встречаясь с глазами людей в первом ряду. Он не просил их внимания; он им командовал.

— Наши враги больше не на поле боя, вооруженные винтовками. Они здесь, среди нас. Они в редакциях новостей, в финансируемых из-за рубежа НПО, в шепоте предателей, которые стремятся продать нашу победу за горсть долларов. Они хотят превратить наших героев в преступников. Они хотят отравить умы наших детей ложью. Они хотят, чтобы мы стыдились нашего собственного выживания.

Экран за его спиной сменился. На нем появилась нарезка изображений: улыбающийся Аркан целует руку старой женщине в разрушенной деревне; Аркан делит кусок хлеба с солдатом; Аркан торжественно возлагает венок на военном кладбище. Изображения были в мягком фокусе, почти блаженные. Саундтреком была парящая оркестровая пьеса, полная пафоса и национальной гордости.

В затемненной монтажной комнате государственного телецентра Марко смотрел пресс-конференцию на мониторе, и у него скручивало живот. Он знал эти кадры. Он сам их монтировал. Урош все время стоял за его спиной, его влажная рука время от времени сжимала плечо Марко.

— Больше чувства, Марко, больше чувства, — инструктировал Урош своим сиплым шепотом. — Мы не просто показываем человека. Мы показываем символ. Защитника народа. Используй замедленное движение вот здесь, на поцелуе. Переход на ребенка, машущего флагом. Хорошо. Вот так. У тебя настоящий талант к этому.

Талант лгать. Талант превращать мясника в святого. Каждый кадр, который он сшил, был предательством правды, что лежала спрятанной в его квартире, в коробке с диафильмами его дочери. Кассета. Черный пластиковый прямоугольник, казалось, физически врос ему в грудь, опухоль совести, которую он не мог ни вырезать, ни игнорировать.

На мониторе Аркан приближался к кульминации.

— Этот фонд, — прогремел он, указывая на логотип, — будет нашим щитом. Мы будем поддерживать наших ветеранов, людей, которые пожертвовали всем. Мы будем заботиться о семьях наших павших мучеников. И мы будем бдительны. Мы создадим центр геополитического анализа, «экспертный» орган, чтобы противостоять пропагандистской войне, ведущейся против нас. Мы будем издавать книги, проводить конференции, воспитывать нашу молодежь. Мы не позволим шакалам переписать нашу историю. Правда — наше оружие, и мы будем владеть им без страха!

Аплодисменты были громкими и продолжительными. Марко видел, как министр информации Александр Вучич встал, чтобы пожать руку Аркану. Он видел известного писателя, человека, которым когда-то восхищался, которого Аркан покровительственно хлопал по спине. Он видел епископа, торжественно кивающего в знак одобрения. Весь истеблишмент освящал его, смывая кровь с его рук святой водой общественного признания. Они не просто игнорировали правду; они убивали ее средь бела дня, в пятизвездочном отеле, и называли это убийство патриотическим актом.

Марко выключил монитор. Тишина в монтажной внезапно стала огромной, удушающей. Он увидел свое отражение в темном экране: бледного, опустошенного человека. Могильщик правды. Анонимный отправитель из Вены назвал его могильщиком. Но он не просто хоронил мертвых. Теперь его заставляли воздвигать великолепный памятник на вершине братской могилы.

Позже тем же вечером, после того как Урош похлопал его по спине за хорошо выполненную работу и отправил домой, Марко стоял в спальне своей дочери. Ана спала, ее маленькая грудь поднималась и опускалась в мягком свете ночника. Он вытащил коробку с диафильмами. Его рука дрогнула, когда он, миновав «Трех поросят», коснулся твердых краев кассеты VHS.

Его первым порывом было уничтожить ее. Разбить молотком, сжечь пластиковую ленту, смыть пепел и освободиться. Освободиться? Нет.

Уничтожение не сделало бы его свободным. Оно сделало бы его постоянным, добровольным соучастником. Это означало бы, что Аркан, Йованович и Урош победили полностью. Что ложь теперь — единственная оставшаяся реальность.

Его вторым порывом было обнародовать ее. Отдать одному из иностранных журналистов, которые вечно рыскали вокруг. Но это был смертный приговор. Для него и, возможно, для его семьи. Новый фонд занимался не только изданием книг. Марко видел людей, которые окружали Аркана. Они не были аналитиками. Это были те же люди с жесткими лицами с войны, только в лучших костюмах. Это они забрали Милана Петровича.

Он положил кассету обратно в коробку и задвинул под кровать. Он был в ловушке. Он был единственным хранителем правды, настолько ядовитой, что она убьет любого, кто к ней прикоснется, начиная с него самого. Он пошел на кухню и налил себе стакан воды, его рука дрожала так сильно, что он пролил половину. Он посмотрел в окно на заснеженные улицы. Они выглядели так мирно. Идеальная, белая ложь.

В Вене снег был таким же белым, но Стефану Костичу он не приносил утешения. Он сидел в своей тесной квартире, окруженный картами, свидетельскими показаниями и спутниковыми фотографиями, и смотрел зернистую спутниковую трансляцию пресс-конференции Аркана. Дэвид сидел напротив, потягивая кофе.

— Посмотри на него, — прошипел Стефан, указывая на экран, где Аркан улыбался и пожимал руки. — Из военачальника в государственные деятели за шесть месяцев. Он отмывает себя. И ваши правительства позволяют ему это. Ваши правительства помогают ему. Потому что Милошевич, его хозяин, теперь ваш «партнер по миру».

— Это политика, Стефан, — устало сказал Дэвид. За последний год он постарел на десять лет. — Это грязно. Нам нужно было подписать Дейтон. Милошевич был единственным, кто мог заставить боснийских сербов пойти на это. Цена была... смотреть в другую сторону. Пока что.

— Пока что? Дэвид, посмотри! — Стефан переключил трансляцию на запись лекции профессора Йовановича, которую ему записал один контакт. Он перемотал на ключевой фрагмент. — Послушай этого человека. «Необходимая операция». «Демографическая консолидация». Это язык Ванзейской конференции, упакованный в академический жаргон. Это интеллектуальный яд. Аркан — это мускулы, но Йованович — это мозг. Они не просто замечают следы; они строят на них национальную мифологию. Через двадцать лет их версия станет официальной историей. Сребреница будет сноской, спорным событием, «трагическим инцидентом, где пострадали обе стороны». А наша работа, наши доказательства будут отвергнуты как иностранная пропаганда.

Дэвид провел рукой по лицу.

— Я знаю. Вот почему твой «могильщик» так важен. Эта кассета, если она существует, как ты полагаешь...

— Она существует, — с уверенностью сказал Стефан. — Сообщение было слишком конкретным, слишком отчаянным. Этот человек внутри машины. Он видит то, что вижу я. Он чувствует то, что, должно быть. Разница в том, что у него есть физическое доказательство.

— И он также самый уязвимый человек в Сербии сейчас, — мрачно добавил Дэвид. — Новый «фонд» Аркана — это не аналитический центр, это эскадрон смерти с отделом PR. Их первым делом будет заткнуть все утечки. Навсегда. Если ты попытаешься связаться с этим человеком, ты можешь привести людей Аркана прямо к его двери.

Стефан встал и подошел к окну, глядя на чистую, упорядоченную венскую улицу. Он чувствовал пропасть, разверзшуюся между этим миром законов и трамваев, ходящих по расписанию, и миром, за который он боролся, миром лжи и массовых захоронений.

— У нас нет выбора, — сказал Стефан тихо. — Юридическое правосудие в Гааге — это одно. Оно медленное, выборочное. Но историческая справедливость... это нечто иное. Это единственное, что

может предотвратить повторение этого. Мы должны достать эту кассету. Мы должны найти способ связаться с этим человеком.

Он повернулся к Дэвиду. Усталость в его глазах исчезла, сменившись холодной, твердой решимостью.

— Они создают «экспертов», чтобы оправдать неоправдываемое, — сказал он. — Аркан — «эксперт по безопасности». Йованович — «эксперт по истории». Они строят крепость из лжи. Но в каждой крепости есть трещина. Эта кассета — трещина. Я должен добраться до нее, Дэвид. Прежде чем они зальют ее цементом. Или заложат телом.

Через неделю после лекции Невена сидела в университетской библиотеке, перед ней на столе лежала запрещенная книга. Это был отчет правозащитной группы из Хельсинки, ввезенный в страну контрабандой и передаваемый из рук в руки в небольшом кругу диссидентствующих студентов и профессоров. Его обложка была простой, язык — сухим и фактическим. В нем перечислялись имена, даты и места. В нем были показания очевидцев.

Она читала о складе в Кравице. Она читала о колонне безоружных мужчин, идущих через лес. Она читала показания выжившего, который спасся, прячась под грудой трупов два дня. Клинический, академический язык профессора Йовановича — гангренозная ткань, демографическая консолидация — испарился, как дым. Его заменила вонь крови, кордита и ужаса. У разбитых камней были имена: Эмир, Хасан, Алмир. Гангренозной тканью были школьный учитель, пекарь, шестнадцатилетний мальчик.

Ее руки дрожали. Ей стало физически плохо. Прекрасный собор мысли, который профессор воздвиг в ее сознании, рухнул в груды обломков, обнажив скотобойню, на которой он был построен.

Она закрыла книгу и оглядела библиотеку. Юноши и девушки ее возраста учились, флиртовали, беспокоились об экзаменах. Они жили внутри лжи. Там было комфортно. Тепло. Это был мир, в котором она

жила всего неделю назад. Но она вышла наружу, и теперь не могла вернуться.

Она достала свой блокнот, пролистав восторженные заметки с лекции Йовановича. Слова Необходимая операция словно издевались над ней. На новой странице она начала писать. Это была не сводка запрещенной книги. Это был список вопросов.

1. Если это был «обмен населением», почему мужчин и мальчиков отделили от женщин?
2. Если жертвы были солдатами, почему так много из них были найдены со связанными за спиной руками?
3. Профессор говорит об «исторической необходимости». Чьей необходимости? И кто дал ему право решать?
4. Что такое «демографическая консолидация», если не слово, чтобы скрыть могилу?

Она писала, пока страница не заполнилась. Каждый вопрос был маленьким актом бунта. Отказом принять респектабельную, обеззараженную версию зла. Она не знала, что будет делать с этими вопросами. Кому она могла их задать? Задавать их вслух было опасно. Но не задавать их, как она теперь поняла, было другой формой смерти.

Она посмотрела на высокие арочные окна библиотеки. Садилось солнце, отбрасывая длинные тени по комнате. Охота на внутреннего врага началась. Аркан охотился за предателями, за теми, кто сливает информацию, за всеми, кто помнит. Стефан охотился за призраком, за кассетой, хранящей неубиваемую правду. А Невена, вооруженная лишь блокнотом и совестью, которая только что была жестоко разбужена, начинала свою собственную охоту. Охоту за настоящей историей своей страны, похороненной под горой респектабельной лжи. У респектабельного зла теперь было лицо — это был добродушный профессор, военачальник-филантроп. И она знала, с уверенностью, которая одновременно ужасала и воодушевляла ее, что ей придется посмотреть этому лицу в глаза.

Глава 9. Пока не названы имена: Невозможность примирения

Наступивший мир пах формальдегидом. Он не исцелял, а бальзамировал раны, сохраняя их в неизменном виде под глянцевой кожей официальных заявлений. В эфире государственного телевидения запустили новое ток-шоу, флагманский проект по «национальному примирению». Называлось оно с бесстыдной прямоотой — «Линия прощения». Студия была залита теплым, медовым светом, в центре стояли два уютных белых кресла, а на заднике, в мягкой расфокусировке, зеленели идиллические пейзажи — луга, реки, холмы. Пейзажи страны, которой никогда не существовало.

Марко сидел в аппаратной, глядя на дюжину мониторов, и чувствовал, как кислота поднимается к горлу. Сегодняшним гостем был некий господин Петрович, не тот Милан Петрович, которого увезли люди Аркана, а другой, живой, округлый, с мягкими руками и сановным голосом. Его представили как социолога и члена правления новоиспеченного «Фонда безопасности и будущего Отечества». Человек Аркана, только в другой униформе — в костюме эксперта.

Урош стоял за спиной Марко, его дыхание с запахом несвежего кофе щекотало шею. «Крупный план на гостя, когда он будет говорить о детях, — прошипел Урош. — Дай нам его сочувствующие глаза. Люди должны видеть, что он страдает вместе с ними».

На экране господин Петрович как раз перешел к главной теме. Ведущая, молодая женщина с заученной скорбью на лице, задала вопрос: «Господин Петрович, наша нация глубоко травмирована. Шрамы повсюду. Как нам, простым людям, найти в себе силы, чтобы перевернуть эту страшную страницу?»

Петрович скорбно покачал головой, его пухлые щеки дрогнули. «Вы задаете самый важный, самый болезненный вопрос, — начал он своим бархатным баритоном. — Война — это ужасная трагедия, стихия, которая проносится по судьбам, не разбирая правых и виноватых. В

братоубийственном конфликте страдают все. И сербы, и хорваты, и мусульмане. Мы все — жертвы. Жертвы распада великой страны, жертвы чужих геополитических игр».

Он сделал паузу, посмотрев прямо в камеру, в миллионы глаз, прикованных к экранам. «Именно поэтому сегодня так опасно и безответственно пытаться делить нас на палачей и жертв. Это путь в никуда. Это путь к новому витку ненависти. Единственный путь к исцелению — это взаимное прощение. Мы должны простить друг друга. Не спрашивая, кто начал первым. Не копаясь в ранах. Не ища виноватых. Просто сказать: да, было ужасно, мы все совершали ошибки, давайте забудем и будем жить дальше. Ради наших детей. Ради будущего».

Урош ткнул Марко в плечо. «Вот! Сейчас! Давай крупный план! Идеально!»

Марко подчинился. На главном мониторе появилось лицо Петровича, увеличенное, пористое. Глаза были влажными, губы скорбно изогнуты. Актер, играющий роль гуманиста. Марко знал, кто такой Петрович. До войны он был мелким партийным функционером, прославившимся яростными статьями о «внутренних врагах» и «необходимости очищения». Теперь он говорил о прощении. Но о каком прощении он говорил? О прощении без покаяния. О забвении без справедливости. Это было не прощение, а амнистия, выданная преступниками самим себе.

В его голове всплыли кадры с кассеты. Не абстрактные «ошибки», о которых говорил Петрович, а конкретные, документированные преступления. Человек в военной форме, которого Аркан называл «Зверем», пинающий лежащего старика. Сам Аркан, смеющийся и указывающий пальцем на группу пленных, которых уводили за сарай, откуда потом доносились выстрелы. Эти образы были выжжены на внутренней стороне его век. И вот сейчас он, Марко, своими руками монтировал ложь, которая должна была скрыть эти образы от всего мира. Он не просто закапывал правду, он удобрял почву для новой лжи.

«Прекрасная работа, Марко, — сказал Урош после эфира, хлопая его по спине. — Ты чувствуешь материал. У тебя есть сердце».

Сердце. Марко прикоснулся к груди. Там, где должно было быть сердце, ощущался лишь холодный, тяжелый камень. Он вышел с телецентра на морозный воздух. Белград сверкал огнями. Люди спешили по домам, смеялись, сидели в кафе. Жизнь продолжалась. Они смотрели «Линию прощения», и им хотелось верить. Конечно, хотелось. Верить в то, что ты не соучастник, а жертва обстоятельств, было так легко, так соблазнительно. Ложь профессора Йовановича и ложь Аркана, поданные под разными соусами, были пищей, которую отравленная нация жаждала поглощать.

Дома Ана уже спала. Он постоял над ее кроватью, вглядываясь в безмятежное лицо дочери. Ради ее будущего, говорил Петрович. Но что это за будущее, построенное на фундаменте из костей и лжи? Что он скажет ей, когда она вырастет и спросит: «Папа, а что ты делал во время войны? А после нее?» Скажет ли он ей: «Я монтировал передачи о примирении, доченька. Я помогал убийцам выглядеть миротворцами, чтобы у тебя было спокойное детство». От этой мысли его затошнило.

Он подошел к своему рабочему столу. Включил старый компьютер. Дрожащими пальцами набрал в поисковике название той правозащитной организации из Хельсинки, чей отчет он видел у одного иностранного журналиста. Сайт был заблокирован, но через прокси-сервер, о котором ему рассказал коллега-диссидент, удалось зайти. Он нашел раздел контактов. Анонимный имейл для информации: info@helsinki-watch.org.

Он смотрел на этот адрес несколько минут. Пальцы застыли над клавиатурой. Это был прыжок в пропасть. Один клик — и его жизнь, жизнь Аны, уже никогда не будет прежней. Они найдут его. Люди Аркана не были дураками. Они прочесывают интернет. Они контролируют провайдеров. Он представил себе, как в дверь стучат. Не громко, а вежливо, как стучат соседи. Но за дверью будут стоять те самые люди в костюмах, что окружали Аркана. Люди с мертвыми глазами.

Он вспомнил Милана Петровича, своего тезку, которого увели. О нем больше никто не слышал. Он просто исчез. Растворился.

Марко с силой захлопнул крышку ноутбука. Нет. Не сегодня. Он не мог. Страх был физическим, он сковывал мышцы, замораживал волю. Он был отцом. Его главный долг — защитить своего ребенка. А правда... правда может подождать. Но другая, более тихая часть его сознания шептала: она не подождет. Она умрет здесь, в этой комнате, от твоего страха.

Невена сидела на последнем ряду в аудитории, где проходил семинар по «Социологии постконфликтных обществ». Вел его доцент Митич, человек лет сорока пяти, с репутацией умеренного либерала. Он не был диссидентом, но, в отличие от профессора Йовановича, не был и ярким идеологом. Он старался ходить по лезвию ножа, используя обтекаемые формулировки и ссылаясь в основном на западных теоретиков.

Сегодняшняя тема была «Механизмы социальной памяти и забвения». Доцент Митич рассуждал о концепции «коллективной амнезии» как о защитном механизме общества, пережившего травму. «Порой, — говорил он, осторожно подбирая слова, — общество, чтобы двигаться вперед, инстинктивно выбирает путь забвения болезненных эпизодов. Создается негласный консенсус — не говорить о прошлом, чтобы не беречь раны...»

Рука Невены взлетела вверх. Она не планировала этого. Это был импульс, рожденный гневом и тошнотой, которые накопились в ней после прочтения того запрещенного отчета. Доцент Митич удивленно посмотрел на нее. Он не любил, когда его прерывали. «Да, коллега?»

«Простите, — голос Невены дрожал, но она заставила себя говорить громко и четко. — Но разве это не зависит от того, о каких именно «болезненных эпизодах» идет речь? И кто решает, что нужно забыть? Если речь идет о преступлениях, то разве «коллективная амнезия» — это не то же самое, что коллективное соучастие? Разве

примирение возможно, пока преступники не названы по именам и не осуждены? Разве это не превращает прощение в насмешку над жертвами?»

В аудитории повисла звенящая тишина. Студенты, которые секунду назад дремали или переписывались, теперь уставились на Невену. Одни — с испугом, другие — с враждебным недоумением, и лишь несколько человек — с проблеском тихого одобрения в глазах. Она чувствовала себя голой под их взглядами. Она нарушила негласный консенсус.

Доцент Митич снял очки и начал медленно протирать их платком — тот же жест, что и у профессора Йовановича, но в нем читалась не задумчивость, а нервозность. «Это... очень сложный этический вопрос, — наконец произнес он, избегая смотреть на Невену. — Разумеется, в идеальном мире справедливость должна восторжествовать. Но мы живем в реальном мире, в мире политики и компромиссов. Иногда преждевременный поиск «правды» может привести к еще большему насилию. Иногда стабильность важнее абсолютной справедливости. Давайте вернемся к теории Дюркгейма...»

Он сбежал. Он спрятался за Дюркгейма. Невена опустилась на стул, чувствуя, как щеки горят от стыда и ярости. Он не ответил. Хуже — он показал ей и всем остальным, что такие вопросы задавать опасно. После семинара к ней никто не подошел. Люди обходили ее стороной, словно она была прокаженной.

Только на выходе из университета ее догнал парень с ее курса, Саша, известный своим сарказмом и вечными спорами с преподавателями. «Крутой вопрос, — сказал он, закуривая. — Я уж думал, тут все в анабиозе. Митич чуть в штаны не наложил». «Он просто испугался», — тихо сказала Невена. «Мы все боимся. Это теперь нормальное состояние, — Саша выпустил струю дыма. — Слушай, если тебе и правда интересно говорить об этом, а не просто пугать доцентов, приходи сегодня вечером. Кафе «Знак вопроса». В восемь. Там будут те, кто не боится». Он подмигнул и быстро ушел, оставив Невену наедине с холодом и неожиданным приглашением.

Кафе «Знак вопроса» было старым, прокуренным заведением с темными деревянными панелями и тусклым светом. В дальнем углу за сдвинутыми столами сидели человек семь, включая Сашу. Это были студенты с разных факультетов — истории, философии, права. Воздух был густым от табачного дыма и запаха крепкого турецкого кофе.

«Это Невена, — представил ее Саша. — Она сегодня задала Митичу вопрос о справедливости. Он до сих пор икает». Девушка с короткими волосами и пирсингом в брови усмехнулась. «Добро пожаловать в клуб «преждевременных искателей правды»».

В тот вечер Невена впервые почувствовала, что она не одна. Они говорили шепотом, но слова их были громче любых лозунгов. Они передавали друг другу ксерокопии статей из западной прессы, распечатки докладов правозащитников, которые Саша доставал через свой медленный и дорогой диалап-интернет. Они спорили о Дейтонском соглашении — было ли оно предательством или единственным выходом. Они обсуждали лекцию Йовановича, и слова, которые казались Невене такими убедительными всего пару недель назад, теперь звучали в их пересказе как бред сумасшедшего.

«Они строят мир, в котором слово «правда» стало ругательством, — говорил студент-историк по имени Горан. — Они подменяют историю мифологией. И самое страшное, что это работает. Люди хотят забыть. Хотят верить, что мы — героические жертвы, а не...» Он не закончил фразу, но все поняли.

«Так что мы будем делать? — спросила Невена. — Просто сидеть здесь и шептаться?» «Для начала — да, — ответил Саша. — А еще — читать. Думать. Искать таких, как мы. Мы не можем выйти на площадь с плакатами. Нас раздавят и не заметят. Люди Аркана теперь не в военной форме, они в дорогих костюмах и с депутатскими значками. Они стали государством. Но мы можем быть памятью. Солью, которая не даст этому обществу окончательно сгнить».

Возвращаясь домой поздно вечером, Невена чувствовала не страх, а странное, пьянящее возбуждение. Она нашла своих. Маленький,

хрупкий островок разума в море лжи. Это было немного, но это было начало.

Дома она попыталась заговорить с матерью.

«Мам, а ты знаешь, что на самом деле произошло в Сребренице?»

Мать, которая чистила картошку на кухне, замерла. Она медленно повернулась к дочери, и в ее глазах была мольба.

«Невена, дочка. Прошу тебя. Не лезь в это. Это было страшное время. Мы выжили. Твой отец нашел работу. Ты учишься в университете. Давай просто жить. Пожалуйста».

«Но, мама, это же неправильно! Делать вид, что ничего не было!»

«А что правильно? — голос матери дрогнул. — Чтобы тебя отчислили из университета? Чтобы к нам пришли домой «поговорить»? Ты думаешь, я не знаю, что происходит? Я знаю. И именно поэтому я хочу, чтобы моя дочь была в безопасности. Забудь. Ради нас».

Это был самый страшный аргумент. Аргумент любви, превращенный в оружие конформизма. Невена поняла, что стена, которую ей предстоит пробить, не только вовне — в правительстве, в университетах, в газетах. Она была и внутри — в ее собственном доме, в сердцах самых близких ей людей. Стена из страха и желания покоя любой ценой. И эта стена была куда толще и прочнее.

В Вене, в квартире Стефана Костица, тоже пахло кофе и табаком, но здесь не было ни споров, ни смеха. Только напряженная, сосредоточенная работа. На стене висела огромная карта Боснии, испещренная цветными булавками. Каждая булавка — свидетель, братская могила, разрушенная мечеть, лагерь для пленных.

Дэвид сидел в кресле, глядя на экран ноутбука Стефана. Там была открыта веб-страница «Фонда безопасности и будущего Отечества». Глянцевые фотографии, отчеты о благотворительных акциях, анонсы «научных» конференций.

«Они невероятно эффективны, — сказал Дэвид с мрачным восхищением. — Они создают альтернативную реальность в промышленных масштабах. Их аналитический центр уже выпустил три доклада, доказывающих, что лагеря в Приедоре были всего лишь «центрами для временно перемещенных лиц», а резня в Сребренице — законной военной операцией против 16-й мусульманской дивизии».

«Пропаганда работает, когда у нее нет оппонента с равными возможностями, — отрезал Стефан. Он не спал почти двое суток, глаза покраснели. — Пока мы собираем доказательства для Гаагского трибунала, который начнет судить лет через пять, они уже выиграли войну за умы в своей стране. Они отбеливают себя в реальном времени. И Аркан — их главный проект. Смотри».

Он кликнул на ссылку. «Интервью с господином Арканом, председателем парламентского комитета по безопасности». Аркан, в безупречном костюме сидел в студии, похожей на ту, где выступал его подручный Петрович, и рассуждал о необходимости борьбы с «иностранный агентурой» и «предателями, порочащими честь сербской армии». Он больше не был полевым командиром. Он был государственным деятелем. Законодателем.

«Он строит крепость, — сказал Дэвид. — Крепость из лжи, денег и политического влияния. И наш «Могильщик» замурован внутри этой крепости. Вместе с кассетой».

«Значит, мы должны пробить брешь, — Стефан встал и начал ходить по комнате, как зверь в клетке. — Тот первый имейл был криком отчаяния. Этот человек на грани. Ему нужен не просто призыв, ему нужен знак. Знак, что он не один, и что есть безопасный выход».

«Любой контакт — это риск, Стефан. Его почту, его телефон — все могут прослушивать. Один неверный шаг, и мы подпишем ему смертный приговор».

«Я знаю, — Стефан остановился у окна. Венские крыши были покрыты снегом. Чистым, аккуратным, европейским снегом. Другая планета. — Но бездействие — это тоже приговор. Только отложенный.

Если эта кассета исчезнет, мы никогда не сможем доказать прямую причастность Аркана к приказам. Он останется «патриотом» и «политиком», а не военным преступником. И вся их версия истории станет единственной».

Он вернулся к столу.

«Нам нужен канал, который они не контролируют. И сообщение, которое поймет только он». «Например?» Стефан задумался, барабанил пальцами по столу. Его взгляд упал на стопку расшифровок свидетельских показаний. Он начал быстро перебирать их.

«Когда мы получили тот первый имейл, я попросил наших аналитиков поискать любые упоминания об операторе или ком-то, кто снимал Аркана. Есть несколько свидетельств от выживших из деревни Z. Они говорят, что с Арканом был человек с камерой. Один из выживших, мальчик, который прятался в подвале, запомнил деталь. Перед тем, как они начали расстреливать мужчин, оператор снимал Аркана на фоне горящего дома, а тот отдал ему приказ. Свидетель не понял приказа, но он запомнил, что Аркан сказал что-то вроде «Сними это для истории, чтобы внуки смотрели» и при этом поправил свой перстень с двуглавым орлом на мизинце».

«Эта деталь есть в публичных отчетах?» — быстро спросил Дэвид.

«Нет. Мы держим такие детали при себе, чтобы проверять подлинность свидетелей. Этого никто не знает. Кроме нас, того мальчика... и человека с камерой». На лице Дэвида появилось напряженное выражение. «И как ты передашь это сообщение?»

«В Белграде все еще работают несколько независимых радиостанций, — сказал Стефан. — Они на грани выживания, их постоянно глушат, но они вещают. У меня есть контакт на Радио Б-92. Я могу попросить его об услуге. Они иногда зачитывают в эфире «сообщения для друзей за границей». Это старая практика времен изоляции. Они могут зачитать короткое, зашифрованное послание в ночном эфире. Что-то, что будет выглядеть как бессмыслица для всех, кроме одного человека».

Он взял лист бумаги и начал писать.

«Сообщение для «Могильщика». Внуки ждут фильм. Время поправить перстень. Жди сигнала на частоте твоего старого ремесла».

Дэвид прочитал и покачал головой. «Это безумие, Стефан».

«Это наш единственный шанс, — ответил Стефан, не поднимая глаз. — «Частота старого ремесла»... он же телевизионщик. Beta-кассета. Частота. Он должен понять. Это даст ему понять, что мы знаем, кто он. И что мы знаем, что у него есть». «Или это напугает его до смерти, и он уничтожит кассету».

«Это риск, который я готов принять, — сказал Стефан. — Потому что альтернатива — это полная и окончательная победа Аркана и профессора Йовановича. Победа их респектабельного, отмытого до блеска зла».

Несколько дней спустя Марко работал в ночную смену. Нужно было подготовить к утреннему эфиру какой-то унылый документальный фильм о монастырях. В аппаратной было тихо, работал только один монитор и тихо бормотало радио — старая привычка, чтобы не заснуть. Играло Радио Б-92, последняя из станций, где еще можно было услышать западный рок и новости без идеологической обработки.

Около двух часов ночи музыка прервалась, и диджей усталым голосом сказал: «А теперь несколько частных объявлений. Горан из Нови-Сада поздравляет Лену с днем рождения. А вот еще одно, довольно странное... Сообщение для "Могильщика"..."»

Марко замер. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось так сильно, что застучало в ушах, заглушая голос из радио. Могильщик. Это было слово из имейла, который он получил несколько недель назад. Из его собственного анонимного имейла.

«...Внуки ждут фильм. Время поправить перстень. Жди сигнала на частоте твоего старого ремесла».

После этого диджей хмыкнул, сказал «чего только люди не придумают» и поставил следующую песню. Но Марко ее уже не слышал.

Внуки ждут фильм. «Сними это для истории, чтобы внуки смотрели». Слова Аркана, сказанные в тот день у горящего дома. Он помнил их дословно.

Время поправить перстень. Он помнил этот жест. Аркан перед камерой, самодовольно поправляющий массивный золотой перстень с орлом на мизинце. Деталь, которую мог знать только он. И тот, кто видел кассету.

Жди сигнала на частоте твоего старого ремесла. Частота... Ремесло... Телевидение. Кассета. Betacam. Может, радиочастота? Код?

Он сидел, оцепенев, глядя в темный экран монитора. Холодный пот стекал по его спине. Это не было случайностью. Это было послание. Ему. От того, кто ответил на его крик в пустоту. Они нашли его. Но они не пришли с дубинками и наручниками. Они пришли с паролем. Они говорили на его языке. На языке правды, которую он похоронил.

Страх никуда не делся. Он был здесь, в комнате, ледяной и липкий. Но впервые за эти долгие месяцы рядом со страхом появилось что-то еще. Крошечная, микроскопическая искра надежды. Ощущение, что он не один во вселенной держит в руках этот кусок проклятого пластика. Что где-то там есть кто-то, кто знает его тайну и не хочет его смерти. Кто-то, кто предлагает ему не прыжок в пропасть, а веревку.

Он не знал, что делать дальше. Он не знал, каким будет «сигнал» и сможет ли он на него ответить. Но в эту минуту, в пустой ночной аппаратной, под звуки запрещенной музыки, Марко понял одно. Время бездействия закончилось. Игра началась. И теперь он был не просто хранителем могилы. Он был ее привратником. И ему предстояло решить, открыть ворота или замуровать их навсегда.

Он медленно поднялся, подошел к окну и посмотрел на спящий город. Город, который отчаянно хотел спать и не видеть снов. Но сны все равно придут, подумал он. Рано или поздно. Имена будут названы. Потому что без этого примирение — это лишь еще одно название для капитуляции. Капитуляции перед злом.

Эпилог. Системное обновление

Последняя точка была поставлена не ручкой, а тяжелым ударом сердца о ребра. Перед Стефаном на заваленном бумагами столе лежал итоговый документ — «Архитекторы зла». Десятки страниц убористого текста, схемы, имена, даты. Его жизнь, спрессованная в аналитическую записку. Он смотрел на нее, как патологоанатом смотрит на безошибочно поставленный диагноз, зная, что пациент умер не от болезни, а от самого лечения.

Стефан думал, что расследует войну, череду трагедий, вспышку иррациональной жестокости. Каким же он был наивным. Стефан сидел в тишине своей квартиры-архива, и пыль десятилетий, казалось, оседала на его душе. Это была не вспышка. Это был механизм. Отлаженная, бездушная, транснациональная машина, и он, наконец, разглядел все ее шестерни. Государство — дающее силу. Церковь — дающая миф. И третья, самая хитрая, самая неуловимая деталь — технология. «Антикультизм». Эти три силы применили к народу Югославии самое страшное оружие — информационный терроризм в виде индоктринации.

** Примечание: Индоктринация — это преднамеренное и систематическое внедрение определённых убеждений или идеологий в сознание людей. Её цель — сформировать требуемые модели мышления и поведения, подавляя при этом критическое мышление. Индоктринация оказывает одностороннее воздействие на сознание и подсознание человека, исключая альтернативные точки зрения. Процесс индоктринации может применяться в массовом масштабе или посредством специализированных образовательных программ, которые вместо развития критического мышления навязывают целевой группе определённые убеждения и задачи. Инструментами массовой индоктринации являются СМИ и религия.*

Процесс индоктринации проникает гораздо глубже любой пропаганды, даже самой скрытой, поскольку он затрагивает фундаментальные ценности, убеждения и верования, устраняя сомнения. Идеи, внедрённые посредством индоктринации, становятся частью личности человека. Хотя пропаганда может иметь краткосрочный эффект, индоктринация имеет долгосрочный эффект,

часто сохраняющийся на протяжении всей жизни. В нацистской Германии индоктринация применялась для воспитания молодёжи.

В режимах, подавляющих свободу мысли, индоктринация — распространённое явление. Исторические примеры возникновения тоталитаризма и нацизма в разных странах демонстрируют поразительное сходство: источником и исполнителем процесса индоктринации часто являются специалисты по контролю над сознанием, занимающиеся антикультуристской деятельностью: борцы с так называемыми «культами» и «сектами» и их подготовленные коллеги из психиатрии, психологии, журналистики, педагогики, правоохранительных органов и армии.

Он провел пальцем по схеме на первом листе, по цепочке имен, похожей на дьявольскую апостольскую преемственность. Кюннет → «Диалог центр» → Дворкин и Петрович. Это был не просто ряд совпадений, не случайное сходство риторики. Это была прямая передача вируса. Из кабинета берлинского теолога, с удовлетворением отмечавшего интерес Гестапо к его каталогам «сект», смертоносная формула отправилась в путешествие по Европе. Она нашла своих новых апостолов — в Дании, в России, у нас, в Сербии. Она нашла блестящих учеников в лице полковника-психиатра Братислава Петровича, который чертил на доске схемы «психологического асепсиса», и капитана полиции Зорана Луковича, который превращал эти схемы в списки на арест.

Я понял, что «антикультизм» — это гениальное изобретение. Это фашизм, переодетый в лабораторный халат. Он не кричит «убей еврея» или «убей турка». Он говорит спокойным, научным тоном: «носитель деструктивного культа», «очаг психологической инфекции», «необходима санитарная мера». Он не призывает к убийству, он ставит диагноз, подразумевающий летальный исход. Он выводит жертву за рамки человеческого, превращая ее не во врага, а в биологическую угрозу. И тогда убийца становится не палачом, а хирургом. А геноцид — тотальной дезинфекцией.

Стефан смотрел в окно на огни ночного Белграда. Где-то там сейчас пили кофе, смеялись, любили. И никто не знал, что мир, в котором они живут, — это не мир после войны. Это мир победившей войны. Войны, которая не закончилась в Дейтоне. Подписание соглашений остановило пули, но оно легитимизировало ложь. Оно дало архитекторам ненависти, людям вроде Аркана и профессоров, оправдывающих его, шанс переодеться. Снять камуфляж и надеть дорогие костюмы. Превратиться из военных преступников в «экспертов по безопасности», «геополитических аналитиков», «респектабельных бизнесменов» и «миротворцев».

Война не окончена, пока не названы ее архитекторы. Пока на скамье подсудимых сидят лишь безмозглые исполнители, а те, кто создал для них теологию и технологию убийства, читают лекции в университетах и заседают в парламентах. Этот мир — не мир. Это пауза. Это перегруппировка сил зла.

И самое страшное доказательство этому Стефан увидел несколько лет назад на экране телевизора. Избрание патриарха Порфирия Перича. Он помнил его. Молодой, интеллигентный, обаятельный игумен на тех «антикультовых» семинарах в девяностых. Он не рычал, как Лукович, не чертил схемы, как Петрович. Он улыбался. Он говорил о «пастырской заботе», о «диалоге». Он переводил язык ненависти на язык, приемлемый для образованного общества. Он был самым совершенным продуктом системы. Ее обновлением. И вот он взошел на престол. Машина надела свою самую искусную маску — маску любви и всепрощения. Система не умерла. Она достигла своей высшей точки, увенчав себя патриаршим куколом. Это был не символ надежды. Это был окончательный диагноз.

Стефан встал, подошел к стеллажам, забитым папками. Вся его жизнь. Десятки лет погони за призраками. Он думал, что его работа окончена. Какая глупость. Война за прошлое проиграна. Оно уже переписано теми, кто держал в руках и кадило, и автомат. Их версия стала историей.

Но в этой тихой, пыльной комнате Стефан понял одну простую вещь. Его настоящая работа только начинается. Теперь его оружие — репортерский блокнот и правда. Его репортаж адресован не в завтрашний номер газеты, а в вечность. Чтобы однажды, когда пыль уляжется, кто-то, такой же, как он, нашел не только лживые учебники истории, но и это его обвинительное заключение. Чтобы никогда больше не проливалась кровь. Чтобы люди жили, любили и создавали. Ведь жизнь стоит того, чтобы за неё бороться!

Стефан сел за старую пишущую машинку. Положил чистый лист. Руки больше не дрожали. В наступившей тишине первый удар литеры по бумаге прозвучал...

Источники

1. Anticult Trail in the Yugoslav Wars. Part 2 Symphony of Church and State (2025, July 31). Exposing Anti-Cultism. Actfiles. <https://actfiles.org/anticult-trail-in-the-yugoslav-wars/>
2. Kunneth's Legacy in the Bosnian War. Part 1 (2025, July 3). Exposing Anti-Cultism. Actfiles. <https://actfiles.org/kunneths-legacy-in-the-bosnian-war-part-1/>
3. United Nations General Assembly. (2024, May 23). International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica (A/RES/78/282). United Nations Documentation. <https://docs.un.org/en/A/RES/78/282>
4. United Nations. (2024, May 23). General Assembly adopts resolution on Srebrenica genocide, designating International Day of Reflection, Commemoration (GA/12601). UN Press. <https://press.un.org/en/2024/ga12601.doc.htm>
5. Office of the UN High Commissioner for Human Rights. (2024, May 23). UN Human Rights Chief welcomes resolution to commemorate 1995 genocide in Srebrenica. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/05/un-human-rights-chief-welcomes-resolution-commemorate-1995-genocide>
6. Pejić, N. (2004). Media's responsibility for the war in former Yugoslavia. Trier University, ZES Working Papers, 031. <https://www.uni-trier.de/fileadmin/forschung/ZES/Schriftenreihe/031.pdf>
7. United Nations Security Council. (2015, July 8). At meeting commemorating twentieth anniversary of Srebrenica killings, Security Council fails to adopt resolution (SC/11961). UN Press. <https://press.un.org/en/2015/sc11961.doc.htm>

8. United Nations. (1999, November 15). Доклад Генерального секретаря «Падение Сребреницы» (A/54/549). United Nations Documentation (рус. версия). <https://docs.un.org/ru/a/54/549>
9. War in the Minds: Why Reconciliation in the Post-Yugoslav Space Remains Elusive. Part 3 (2025, August 18). Exposing Anti-Cultism. Actfiles. <https://actfiles.org/war-in-the-minds/>
10. Zuvella, M. (2016, July 11). Srebrenica buries 127 victims of massacre, Serbs absent over genocide denial. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/srebrenica-buries-127-victims-of-massacre-serbs-absent-over-genocide-denial-idUSKCN0ZR1H2>
11. Радио Свобода. Суд в Гааге приговорил Младича к пожизненному заключению / Новости. (2017, 22 ноября). [Видео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OjjRJaTInzk>
12. Современная история. Боснийская война: жестокая забытая война | Документальный фильм. (2024, 25 июля). [Видео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=AStQELwLY4M>
13. Филимонова, А. И. (2010). Роль «симфонии» в отношениях церкви и государства в Сербии. Свободная мысль / Intelros. <https://www.intelros.ru/readroom/svobodnaya-mysl/sv7-2010/7241-rol-simfonii-v-otnosheniyax-cerkvi-i-gosudarstva-v-serbii.html>